



книги андрея таврова

- настоящее время (1989)
- осенняя песнь кентавра (1992)
- эль (1996)
- театрик (1997)
- две серебряных рыбы на красном фоне (1997)
- звезда и бабочка – бинарный счет (1998)
- альпийский квинтет (1999)
- орфей (2000)
- sanctus (2002)
- ангел пинг-понговых мячиков» (2004)
- парусник ахилл (2005)
- самурай (2006)
- май, драконы и волшебное зеркало самурай (2006)
- зима ахашвероша (2007)
- кукла по имени долли (2008)
- мотылек (2008)
- свет святыни (2009)
- зима ахашвероша (2010)

АНДРЕЙ ТАВРОВ

**ЧАСОСЛОВ
АХАШВЕРОША**

книга стихотворений

Русский Гулливер
Центр современной литературы
Москва
2010

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
Т13

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта Вадим Месяц

Т13 **Андрей Тавров.** Часослов Ахашвероша. Книга стихотворений — М.: «Русский Гулливер» / Центр современной литературы, 2010. — 152 с.

Книга Андрея Таврова обращается к средневековому жанру часословов, упорядочивающих те события мирового цикла, которые составляли смысл жизни человека, азбуку его мировоззрения — от основной античной и звездной мифологии до жизнеописаний святых и объяснения христианских праздников. Год жизни Часослова связан не только с четырьмя временами года, но является и годом невидимых смыслов, на которые человек опирается и которые он созидает, чтобы не утратить себя. Героем книги «Часослов Ахашвероша» является вечный странник средневековой легенды Агасфер — обобщенный образ человека, движущегося через абсурд «человеческой комедии» в поисках смысла, как своей жизни, так и мира вокруг.

© А. Тавров, 2010

© В. Аристов, предисловие, 2010

© Русский Гулливер, 2010

© Центр современной литературы, 2010

ISBN 978-5-91627-041-9

ДАРЫ В ОТКРЫТОМ МИРЕ

Сейчас любое стремление заговорить «на возвышенных тонах» (в поэзии или в другом искусстве) не то, что не встречает одобрения — оно никак не встречается, нет тех путей — ни воздушных, ни человеческих, чтобы одобрять, ободрять, просто передавать сигнал из одного места Земли в другое. Тем отчаянней и отважней попытка забыть о том, что эпохи символизма и романтизма исчезли давно в головах и сердцах, и начать говорить. С кем? С тем, кто несомненно услышит, хотя надеяться на это почти безнадежно. Отсюда возглас Агасфера (Ahasveros'a, Ахашвероша) — безнадежный и радостный. Нет ему прощенья до Страшного суда, но ему обещано несомненно, что Суд этот будет. И отсюда его взгляд и голос к оставленным на острове Огненном в тюрьме для пожизненно осужденных (стихотворение «Тюрьма на острове»). Он такой же пожизненно осужденный. Только для него остров — весь мир, весь космос, но кто сказал, что он не может начать петь? И даже в заблуждении, даже блуждая по миру пространств и образов, продолжать тихую, отчаянную и радостную песнь? Это прославление без боязни ошибиться, в этой лазурной грязи превращений, где он мастеровой метаморфоз и пластических метафор. Разве это много? Нет, можно сказать, — ничтожно мало. Но это несомненно есть, и это огромно, это то, что пребывает вместе с ним постоянно здесь. Более того, в его песнопениях, организованных славословиях угадывается отблеск того мира, который обещан и после Второго пришествия — мира неизвестного, но истинного.

Почему собственно выбран «Часослов» как организующая форма? В традиции часословов западных (в частности, известнейшего «Великолепного часослова герцога Беррийского») всегда присутствует календарь, знаки Зодиака, литургические

молитвы, приуроченные к определенным часам — «проекции» их можно угадать и в стихотворной книге, но для нас важна организация времени — развернутого в будущее (и прошлое) и при этом циклического. Что задает свободную форму — весьма подробную (где отдано место и развернутым произведениям и стихотворным миниатюрам) и, вместе с тем, насыщенную мифологическими, метафизическими религиозными смыслами. Причем здесь дан даже не весь годовой круг — описание развернуто лишь до апреля, так что многообразие собранного материала и то, сколько оно вобрало в себя, удивляет. Понятно, что отсылка к «Часослову» братьев Лимбургов — лишь начальная точка в создании своего произведения, но так же, как эти художники отошли от плоскостной миниатюры и внесли в нее черты пространственной перспективы, так поэт, кажется, начал осваивать не совсем известную технику «временной перспективы». Множество деталей, сцен, предметов, которые изображаются в средневековом часослове — заметим, что это не была канонизированная церковная книга — может и должно в современных стихах превратиться в подробное описание мира, где множественность и красота подробностей вовлечена в протяжение времени — времени космического (в строении) и эсхатологического (в преодолении его).

Никогда раньше, по-видимому, Тавров не был столь многословен, подробен, детализирован, и при том столь многозначен и неистово отрешен от привычной реальности, однако и связан с ней множеством путей и метафор. В чудесной «изначальной» фамилии поэта — Суздальцев помимо слов, сопряженных с именем города, в котором слышатся, «создал», «удаль» и «даль», есть уменьшительность искусного создания, где звучание слилось с легким звоном от тонко откованного украшения, драгоценности. Но он ушел в поэзии от своего имени и сам дал себе имя и выбрал неизвестность далеких южных дорог — Тавров. С этим «тавром» он и вошел в новую литературу. Незримая «Таврия» его имени становится сродни нашему существованию. Вот стихи Андрея Суздальцева, взятые наугад из антологии «Строфы века»: «Мне кажется, я лиц не вижу ваших / свеча трепещет музыке под стать, / и музыка над ней крылами машет, / боясь от угасания отстать». Вот иные строфы — Андрея Таврова из «Часослова Ахашвероша» из стихотворения «Пустынный»:

*Иди, говорит он Аду, и тот идет.
И в пустыню зарыт, словно циклона глаз,
он сжимает себя до кости и черное солнце пьет.
Это я, говорит он, Боже, здесь двое нас.*

*И тебя тут нет, как меня тут нет — пустота.
Я сжимаю ничто себя как подкову в хруст,
и себе я никто, и могила моя пуста,
и себе я сам — и земля и могильный груз.*

*И кривится небо в ответ, как железо в руке,
проступая улыбкой, творящей заново свет,
черный ангел идет к синей, как ночь, реке,
и рождается мир, словно еж, лучами раздет.*

*Дерево каменное растет — сухи сучья рук
и глаза черны до самой земли, до корней.
Человек рождается. Ягненок бежит на звук.
И небо, как мать, стоит посреди дверей.*

Или из «Январского послания Ахашвероша»:

*Что скажешь деде, когда она стоит внутри тебя на коленях,
как черный мерин ахейца в черном коне троянском —*

живое в мертвом,

*а из локтей ее и бедер бьют родники, и из них
лакают слон, гриф и дракон?*

*Что ты ей скажешь, учуяв вечность и падаль,
звук разгрызенной раковины и червя с раскаленным гвоздем внутри,
ее колени внутри твоих.*

*Ее голос внутри твоего,
ее воспоминания внутри твоей подлой и верткой памяти?*

И язык ее словно вепрь, разрывает желуды твоего тела.

Что ты ей скажешь, какую букву?

Что ты скажешь себе самому, если его найдешь?

Действительно, что сказать? Дикие стихи, могут сказать те, кто привык скользить безоглядно по затверженным школьным четверостишьям. Здесь, где традиционно относимое к возвышенному, сравнивается и определяется через «низменное», предметное, Тавров победил самого себя прежнего, как ни странно, вдохновенным количеством созданного, множественностью непреложно сказанного, — здесь открылись не-

кие непредсказываемые входы — эти варварские длинноты и бесконечные периоды — его ангажированность словом. Пусть он подверг себя сознательному воздействию, влиянию метареалистической школы, став на время ее учеником, хотя ученичество в такой школе неотделимо от учительства (он сам внес туда непредсказанную экспрессию), он нашел в движении, а не в собирании догм ждановские «поиски Абсолюта» и (в особенности) паршиковское «изумление зрения» перед многообразием мира.

Хочется приводить просто сильные строки из его стихотворений:

*Возьми же мой выстрел сердца, дева-любовь,
как снежок разломай, словно клетку грудную льва.
Все миры снаружи бегут, лишь покуда бровь
внутри, словно снежный мост, весь в буквах от веры, жива.*

(«День мученицы Татианы»)

Или:

*И он встанет в небе черной чугунной дырой
меж Персеем и переменной, как ртуть, Луной.
Он вложился как в лузу в удар, и он шевелит листвой,
и вываливается соловей, и уходит в дыру живой.*

(«Боксер»)

Он изменился, как изменяется этот путник в годах своего бесконечного странствия. Грешник или просветленный. Поэзия говорит голосом самих вещей, голосом наивным живого ручья. Именно Тавров написал эту поэтическую книгу. Книгу скитальца, восхищающегося земным садом превращений. Странника, который словно бы вышел из книги Борхеса «Бессмертный» и вошел в эту книгу с теми дарами, которые он дал самому себе. Но мы эти дары видели, и поэтому они вместе с нами. Символы взыскуют земного, они нуждаются в человеческой, мирской множественности — в этом путешествии не только в земных, но и небесных пространствах. Ахашвероша ожидает не только тоска по недостижимому раскаянию, здесь мир небывалых и страшных чудес, о которых он хочет поведать.

К средневековой истории о Вечном Жиде (немилосердном иерусалимском сапожнике, который не помог Христу в его

пути на Голгофу и был обречен на вечное странствие, вечное изгнание), обращались известные поэты (Гете обдумывая ее, правда, предпочел сюжет Фауста). Давняя эта легенда не требует вводных слов, особенно в традициях западной культуры. В книге, по сути, происходит скрытый диалог со многими авторами. В отличие от Борхеса, Ахашверош Таврова не рассматривает бессмертие как наказание. Он видит в этом задание свыше. Рассказать земным людям о том, каково это в мире чудесных метаморфоз, о которых они не подозревают. Потому что они заняты тяжелым смертным трудом. Также и стихи Таврова могут (при всей своей яркости и яростности) показаться, как ни странно, незаметными. Слишком они многонаполнены, слишком «оптимистичны» (несмотря на противоречивость и неоднородность). Но чем может еще уменьшить, если не избыть свой грех скиталец до Страшного Суда? Только трагическим прославлением иной небывалой реальности, которая ему свободно открылась. Он может переживать земные сезоны — «Зима Ахашвероша», или даже циклы времен — «Часослов». Но «час со слов» его равен великому часу без времени. И все же, почему именно такие превращения, метафоры, метаморфозы происходят в стихах? Не слишком ли много их? Нет ли здесь произвола? Поиски «единственности» закона истожили людскую фантазию. Здесь же в этой неистощимой, неиссякающей реальности будущего, которое — вот оно здесь воображение, вот оно само настоящее, которое сам закон и награда в любом движении. Не слишком ли произвольны эти стихи, где «все переходит во все»? Такой вопрос все же неизбежно возникает. Временами перечислительность, кажется, все же побеждает:

*Перекрестья дорог, все парки, дожди, подруг,
все перроны, аэропорты, весь ветер, весь холод, зной.*

(«Боксер»)

Но все подхватывает эпический вихрь и захват авторской волей вещи и вещи вещей.

Пластика стихотворных метаморфоз, поэтическая алхимия, циклы превращений в книге выходят в наш мир, где нет сейчас изгнанного слова «красота». При том, что фантазия автора и свободное «волеизъявление» самих образов способны обрести черты строгой стихотворной химической науки превращений.

Неожиданно, для привычного образа бесконечно уставшего путника, не-сужение, не-утомление от однообразного в своей повторяемости мира (вспомним гениальное бодлеровское «Плавание» с гимном и проклятьем земной тщете). Собрание образов на бесконечном пути, который отнюдь не представляет из себя царство скуки, неизбежного повторения и страха по Борхесу. Здесь не сужение, но расширение, не аскетическое «стирание», но радость от возможности — пусть в безрассудном стремлении к новому — видеть вереницу и радугу новых вещей.

С полубезумным энтузиазмом первооткрывателя он разглядывает дары открывающегося в мире созидания, в мире, где можно скользить во времени и срывать и собирать плоды разных эпох и культур, соединять их в едином слове, в едином цветке, вкусе и запахе, хотя правилами «хорошего вкуса» это вроде бы запрещено. Все это прямо противоположно нынешнему постмодернизму с его строгими предписаниями, несмотря на кажущуюся вседозволенность и всесмешение. Постмодернизм провозгласил финал творчества и, по сути, — любых изменений. Поэтому предложения Таврова выглядят как архаизмы и варварские жесты для тех, для кого мир закончен.

Нельзя еще раз не подчеркнуть, что в тавровской книге видится опровержение борхесовского странника в веках — Ахашверош трагичен, но это иное состояние, движение — после «всепрощения» — его можно только предчувствовать, понимая, что здесь ожидает суровая и незнакомая реальность. Да, на таком пути ожидают страхи и ужасы повторения, но не того нищенского безбожественного «вечного возвращения всех вещей». Здесь радостное повторение в открытом, непрерывно раскрывающемся мире. Выразить на человеческом языке — даже поэтическом — сверхчеловеческое нелегко.

Только проблески истины могут явиться в открывающемся мире, поражающем и завораживающем воображение. Поэт фиксирует путь на том языке, который ему известен. Или неизвестен. Но неизвестно также, что устоит, что останется в череде превращений и образов. Само искусство, понятие искусства меняется. Повторения в таком мире неизвестных метафор-метаморфоз, казалось бы, невозможно — все совершается впервые и один раз — настолько все сравнения неожиданны (если не произвольны) в своих вспышках, но сама

структура постоянно апеллирует к мифологическому повторению — неожиданно и закономерно.

Вот строфа из произведения «Ахашверош — Музе»:

*Время настало кузнечика и дракона.
Имена долго менялись, прогибая предметы,
и те сдались и истлели. Цикада, говорю, Моргана,
говорю тебе, будь, говорю тебе, будь и скули, ты сильнее кометы.*

Символы самого разного происхождения и исторического веса (или невесомости): языческие, в том числе античные, христианские, ветхозаветные, дзен-буддистские соединяются с вещами. Собственный авторский миф, словно тонкой или толстой иглой — словно напоминая о бывшей профессии основного персонажа книги — срачивает их в неведомых соединениях. Но все решает красота просвечивающей истины образа, что сразу определить сложно. Важно все же, что здесь раскрывается мир, где нечто происходит, где «происходит будущее» — в чем коренное от мира постмодерна, где возможен лишь разностильный «обмен настоящим».

Вот еще некоторые цитаты:

*Ахашверош говорит камням, летящим в него:
Ты будешь буквой А и в череп ляжешь,
И сплотишь мой язык, корявый и немой*

или:

*Я не речь, говорит Ахашверош-баран,
Я не слово, не ум, не имя.*

или:

Не словами я говорю — вещами.

Действительно, в вечном и трагическом мире, который прозревает (может быть, лишь просветами), но пытается организовать в стройную записную книгу — основной лирический герой, вещи и символы взаимозаменяемы, взаимоуподобляемы. Слово, сказанное когда-то, не исчезло, мысль, не пропадает, но, преобразуясь, рождается вновь. Безусловно, здесь также учтен стихотворный опыт метареалистов (и не только их), но такого тотального взаимопроникновения предметов, символов,

образов, пожалуй, не было ни у кого. Хотя на таком пути стихотворного «многословия» может иногда, кажется, потеряться, затеряться тихий голос одинокой вещи, одинокого человека, ибо их всегда вовлекут в поток тотальности, неостановимый призыв из мира дольного и отклик и отзыв из мира горнего.

Вот еще строфа:

*Роза из глубин руки росла,
губы возникали в недрах слова,
озеро вставало из весла —
отразившись в нем, словно основа
плеска, звука, весел и числа.*

Вспоминается, конечно, рильковское (из «Сонетов к Орфею») «И дерево себя перерастало». У Таврова здесь множество вариантов и вариаций, например, в «Птице»:

*Посмотри, как сам себя он не осилит,
как две чаши сдвинуть не велит,
как налит и как обратно вылит,
в небо вшит и в пахоту расшит.*

Иногда может также показаться, что здесь так много всего, так много преобразований, взаимообращений, что в этой пестрости теряется глубинный ритм, но многообразие тяготение к множественности, восхищенность — восхищение миром утверждает все же свой «многоочитый» взгляд и ритм.

Вот строки из стихотворения «Обретение креста Св. Еленой»:

*Дремучие пещеры ходят с хрустом,
чудовищны, как древовидный смерч,
когда он втягивает чаек, пыль,
крушит буксиры, лайнеры, причал.*

Образы здесь не боятся человека, потому что он не только их распорядитель, поэт не боится быть неловким в своем первослове, и не боится строить сравнения, потому что нет здесь привычной иерархии, но все способно обретать иерархию новую, строиться в мгновенные другие ряды соподчинений, и не пугают его предписания «хорошего тона»;

*Он сидит на земле, как проволоки моток,
стоочитый ангел на звук его не найдет.
И идет сквозь него переменный и алый ток,
раскалив добела его плоть для иных высот.*

(«Иоанн и лестница»)

Поэт не боится сугубо классических размеров (хотя временами выходит свободно в речетативный верлибр), потому что совершаемое слишком непреложно, необычно и может быть выражено на простом метрическом языке, — так будет понятнее внешняя оболочка, которая поможет в повторном прочтении и понимании:

*Ей кулак ночной, как в горло вложен,
и земля струится через край.
Сам себя, на черном небе лежа,
сквозь пичугу лютую рожай.*

(«Ласточке ночной слетать в Египет...»)

В открытом, бесконечном мире, в котором предстоит пребывать, все меняется, при том, что все узнаваемо, здесь жить трудно, но это — *vita nova*, иная, поэтически-новая жизнь. Вот важная завершающая строка — но и почти эпиграфическая — из этого же произведения «о ласточке»: «Ненаставшее уже настало».

Владимир Аристов

ОТ АВТОРА

Идея «Часослова» пришла мне в голову почти случайно. Конечно, я знал про книгу с таким названием, написанную Рильке, и у меня не было никакой охоты ее повторять — в области поэзии духа этот поэт не знает равных. Отметим только, что свой «Часослов» Рильке написал под влиянием поездки не куда-нибудь, а в Россию.

Навещая в Питере своего друга, музыканта Вячеслава Гайворонского, я обратил внимание на небольшую книжицу, которая валялась на диване, и между делом стал ее разглядывать. Это было частичное издание, еще советское, «Великолепного Часослова» герцога Беррийского — шедевра средневекового книжного искусства, миниатюры к которому были выполнены братьями Лимбургам, гениальными художниками позднего средневековья. Пролистывая великолепные изображения синих небес над крышами белоснежных замков, парящих над крышами драконов, охот, обручений, верховых прогулок, я стал ощущать, что держу в руках вещь, напоминающую по жанру «Игру в бисер», но предназначенную, в отличие от Игры знаменитого романа, не для интеллектуальных штудий мастеров, играющих со всеми культурами мира, а для практического домашнего пользования.

Дело в том, что средневековые «Часословы» были книгами, скорее домашними, чем церковными. Это была сугубо прикладная, встроенная вместе со всем своим духовным и физическим космосом, прямо в быт человека книга, по которой можно было предсказать, скажем, фазы луны и вычислить, когда тринадцатое, например, февраля придется на воскресенье — с точностью, простирающейся вплоть до нашего времени.

Но эта — астрономическая и космическая сторона Книги была не единственным подарком. Имя любого зодиакального созвездия приводило к древнейшим мифологическим пластам культуры, из которых мне ближе других была древне-греческая. Названия месяцев также влекли за собой отсылки к римской, а, следовательно, и к греческой мифологии, а христианский календарь, вписывая в циклический быт средневекового человека не только заходы и восходы, но и духовный круг — год, означенный христианскими праздниками, памятью святых, мучеников, исповедников, апостолов, чтениями на каждый

день из Нового и Ветхого Заветов, — короче говоря, предлагал некоторые способы общения с Богом.

Одним словом, я понял, что набрел на идеальную, я бы сказал, универсальную (почти Дантовскую) форму, способную вытеснить чрезмерные притязания авторской индивидуальной воли за скобки и вместо этого предложить свой символический ряд и свой духовно-космический код пространства и времени. Собственно говоря, Часослов и был тем, предназначенным для самого что ни на есть бытового пользования, прикладного человеческого жеста — магическим кристаллом, в котором можно было различить при некотором усилии присутствие выходящего за систему оппозиций целостного Бытия или Бога.

Подобно раннему конфуцианству этот пестрый мир праздников и чтений предлагал в самых конкретных жизненных обстоятельствах, среди насущных и конкретных предметов и вещей культуры соотнесение бесконечного и невыразимого божественного жеста с жестом бытовым, человеческим, уникальным не столько в своей малости, сколько в связанности с невыразимым Жестом высшим. Тем внесловесным неподвижным движением, которое не только не отменяет под видом иллюзорности мира или его греховности ценности человеческих движений и слов, радостной необходимости человеческой культуры, но лишь в них и в ней и находит свое завершение, свое самоосознание, все более и более уточняя соотношение Бог — человек в качестве одного существа.

Короче говоря, Часослов, не отменяя человеческого творчества, все же сильно теснит эгоистическую страсть к неосознанному самовыражению, опирающемуся, в основном, на ограниченный и замкнутый интеллект, что и приводит в итоге к предельно плоскостным, «слишком человеческим» формам, свойственным магистральным проявлениям современной культуры.

Двенадцать месяцев Часослова представляют собой некоторую единицу, которая, как всякая единица, находится вне времени, потому что время — это движение от единицы к другой единице, то есть двойка.

В «Часослове Ахашвероша» космический цикл из 12 месяцев смонтирован в несколько минут, которые понадобились автору в 1970 году для того, чтобы дойти по пустырю, на котором сегодня расположен комплекс американского посольства,

а тогда это были травы в человеческий рост, две пустые школы и несколько домов без окон — дойти от дома № 5 в Девятинском переулке до гастронома в Высотке, чтобы купить там бутылку болгарского вина. Прогулка эта не взята с потолка, а значила довольно много в моей тогдашней жизни, потому что по пути я прикидывал, что мне написать в письме к живущей в ФРГ девушке, удивительно похожей на натурщиц Боттичелли и имеющей необратимое влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Мне уже было ясно тогда, что я нашел свою Беатриче, но я не подозревал, что отныне общение будет возможно лишь на метафизическом и поэтическом уровнях, и, тем более, я не подозревал о степени интенсивности, которого это общение достигнет.

Одним словом, сталинская высотка и брежневский пустырь сработали как экран, на который наложились вечные картинки не только филологического и живописного, но и жизненного, частного толка. Точно так же, как впоследствии на эти же посылские стены и этажи легли в качестве динамических слайдов и дальнейшие события из моей жизни, когда, пробираясь к матери в тот самый дом № 5, я попал под обстрел, почувствовав всю нелепость этого дела (героических стрельб во все времена), и жизнь мне спас оmonoвец, буквально зашвырнувший меня в безопасное место.

Те же семь минут, которые молодой человек идет по пустырю, соотнесены с вневременным мгновением Большого Жеста вместе со всеми годами, месяцами, воспоминаниями и траекториями весьма бытовых действий, которые я совершал все эти годы. Одним словом, персонаж, выйдя из дома в направлении гастронома, прожил двенадцать месяцев вечного сакрального года, упаковав и их, и самого себя в странную мерцающую секунду, расположенную вне времени. Благодаря этому, он, вероятно, впервые осознал присутствие в чередующихся формах здесь-бытия некоей непреходящей и лишённой формы основы. Об этом речь частично пойдет в стихотворении «Св. Елена обретает Крест». То есть весь «Часослов» может являться — этой странной секундой не очень милого юноши, путешествующего за выпивкой.

Точно так же, как Бытие, в человека вложен сразу весь мир, прошлый, будущий, совершённый и только возможный, и это иногда можно отследить, но на это мало кто обращает внимание, я же решил — обратить.

Дальше, естественно, встал вопрос, что есть человек? — на который по замечанию Кришнамурти, как на всякий правильно поставленный вопрос, ответа нет. Но, вместо ответа и в качестве ответа — есть ты сам. И к тому же есть твое письмо, есть стихи и часословы.

Почему этот Часослов — Ахашвероша? Ахашверош, Ahashvegus — это латинская переогласовка имени Агасфер, в переводе с древнееврейского означающая не больше, чем просто Артаксеркс или «царь», ну, а в другие тонкости мы здесь вдаваться не будем. Для меня важно, что человек мог повстречать Христа-Бытие и узнать его, но он не только не узнал, но и оттолкнул от себя страдальца, не дав ему перевести дух у своего дома на пути к Голгофе.

Не менее важно было также, что средневековая легенда, всю эту историю выдумавшая вместе с именем, тем не менее, нащупала один важный нерв-архетип. Ты можешь еще раз попытаться встретить свое Начало, свою суть, самого себя, и на этот раз собрать все свое мужество и — не уклониться от этой встречи. И тогда ты преодолеешь эту ограниченную жизнь, от идиотизма которой ты за века блужданий изнемог. Ты — можешь встретить глубинную жизнь, обрести Бытие в себе. Для этого у тебя есть целый год, двенадцать месяцев голографически встроенные в любой день и час любого месяца целиком. В здесь и сейчас. В сингулярную точку. В любой секунде есть все остальное.

Ты перед — бесконечностью. И ты перед вневременным Присутствием — фактором просветления. Да и поиски твои происходят больше внутри, чем снаружи, и каждый календарный святой праздник может стать вектором, ведущим к твоей глубинной сути.

Бесконечное встраивается в конечное и конечное размыкается до бесконечного.

«Часослов Ахашвероша» — это чтение «по месяцам». При работе я пользовался календарем чтений и служб Православной церкви за определенный год — отсюда числа преходящих праздников, соотнесенных с Великим Постом и Пасхой, а также даты самого Великого Поста.

Стихотворения книги ориентированы, как уже сказано, на космическую символику того или иного месяца и, в связи с этим, на мифологические события, христианские праздни-

ки, жития святых, прославления мучеников, сюжеты о Геракле, Афродите, Тифоне, пересекаясь, сплетаясь и создавая пряжу ковра природно-культурной истории. Разглядывание «Великолепного часослова» герцога Беррийского также не прошло даром — часть стихотворений так или иначе реагирует на сто-процентные в смысле жизни и искусства миниатюры. Например, стихотворение «Мелюзина», где герцог Беррийский то ли переливается в наркома Берию, то ли отталкивается от такого (в основном фонетического характера) соседства изо всех сил.

Также в «Часослове Ахашвероша» есть стихотворения произвольные, написанные в канве размышлений или медитаций, параллельных мифологическому ряду знаков и героев. Иногда это «нестроевые» стихи, написанные под впечатлением волн бегущих над песком белорусского озера Нарочь или в результате посещения тюрьмы для пожизненно-заключенных на острове Огненный под Петрозаводском.

Если говорить о пластической технике, на которую я ориентировался, это живопись позднего Ван-Гога.

Все вместе тексты создают тот микроген жизни, который встроен в круг моей крови и моего времени. Точно так же, как я встроен в него и рожден им.

Я хочу поблагодарить всех тех, кто помог мне написать эту книжку: Вячеслава Гайворонского, на чьем диване я нашел идею Часослова, Алексея Парщикова, поощрявшего все мои «утопические проекты», ободрявшего меня в письмах и диалогах, Вадима Месяца, чья космическая тяга к архаике и новым берегам дала мне чувство плеча, его жену Иру, хозяйку квартиры на берегу белорусского озера Нарочь, где этот текст писался, Василия Ласточкина, спутника и организатора поездок к пожизненно заключенным на остров Огненный, Асю Резниченко и Валерия Земских, осуществивших обложку и фактуру издания, Бориса Ориона, мастера дзен, разговоры с которым углубили мое осознание сути вещей, друзей из сообщества АА, которые посвятили меня в близость чуда как нормы жизни, Елену Резниченко как помощника, собеседника и вдохновителя, Григория Померанца и Зинаиду Миркину как участника постоянного многолетнего диалога о внутренней глубине. И еще всех тех, кто жил и творил все это время.

Андрей Тавров

АХАШВЕРОШ К МУЗЕ

*Время настало, и лошади щиплют траву
на площадях Европы, голой и лунноглазой.
Баржи белые тел дрейфуют в распаханном бычьем рву
воздуха с бундестагом, с бумажной исписанной розой.*

*Время настало кузнечика и дракона.
Имена долго менялись, прогибая предметы,
и те сдались и истлели. Цикада, говорю, Моргана,
говорю тебе, будь, говорю тебе, будь и скули, ты сильней кометы.*

*К тебе, любовница, уже не людей, но бессмертных
сущностей с головами оленьими, с пятипалой скользкой звездой
в оголенных глазницах, — еще не тел, но безмерных
животных, сцепляющих тленье, как жидким азотом, собой.*

*К тебе, светлокая дева, ласкающая Колханта,
разрывающая чернозем могил клыком желудевым веоря,
собирающая вспять имена на верные, на гласные гланды,
на белую пудру бабочки, на черную вену.*

*К тебе, молкнувшей так, что, сместившись в тиши, медуза
висит в салоне кабриолета, как жидкая лампа
с острекавшейся кровью, к тебе юногрудая Муза,
к тебе, шестипалый вихрь, мускулистая львиная лапа,*

*замахнувшаяся на бабочку — и ловит! К тебе, богиня!
Ты одна не плачешь, когда шатаются звезды.
В твоем клеточке розы встают из земли, по горло нагие.
И я плыл в тишину, и мои обморожены весла.*

*Не умолкай птицеловка, жизнедарительница, товарка
по ночам с кокаиновым ангелом, летучей мышью.
Врастай в меня черепом, красным моллюском, жаркой
статью, кошачьим воплем, ребром, тишью.*

*К тебе, богиня, зарывающая себя по горло
в солнце живых и солнце мертвых, чтоб дальше горели.
Ты виснешь бисером в промежутках тех мощных голых
тел, что, выбежав из Помпеи, сникли в потёк акварели.*

*Забирайся, пламя, за ворот и, яд, за щеку.
Ты меня рожала, словно комету, из зуба.
Я пьянел от волос твоих, я стою один вдоль ожога,
как замерзшая молния вдоль людьми проросшего дуба.*

ЯНВАРЬ¹КОЗЕРОГ²

Хвала тебе, Пан, Козерог, возьми, что имею —
песнь о тебе, как ты сидел на русской
Ниле-реке, играя на тростнике, левее
себя самого, словно вынут язык моллюска,

а справа лежит все, что было еще до пенья, —
створки, в которых гуляют мысли да ветер,
а сам ты прозрачнее стал и стал тупее
меж черной луной и белой — дар муз, дар речи.

Тифон, вынимает себя из пространства, словно
из красной глины, —
ростом больше, чем слепок, лемехом вспахан, вскопан,
землею набит, как слепец — ночью могильной, львиной,
он вышел из смрада, и псиной дымится кокон.

Бежали боги в Египет, в страхе преображаясь,
Дионис — в козла, в ворона Аполлон и в корову Гера,
Артемиды в рыбу и в вепря Арес, сжимаясь
до новых размеров, глодая иную меру.

¹ Месяц назван в честь бога Януса.

² Зодиакальное созвездие января. Козерог — мифическое существо с телом козла и хвостом рыбы. По наиболее распространенной древнегреческой легенде козлоногий бог Пан, сын Гермеса, покровитель пастухов, испугался столбового великана Тифона и в ужасе бросился в воду. С тех пор он стал водным богом, и у него вырос рыбий хвост. У многих древних народов козу почитали как священное животное, в честь козы совершались богослужения. Люди облачались в священные одежды из козьих шкур и приносили дар богам — жертвенного козла.

Именно с такими обычаями и с этим созвездием связано представление о «козле отпущения» — Азазеле. Азазель — (козлоотпущение) — имя одного из козлообразных богов, демонов пустыни. В так называемый день козлоотпущения отбирались два козла: один — для жертвоприношения, другой для отпущения в пустыню. Из двух козлов священники выбирали, которого Богу, а которого Азазелю. Сначала приносилась жертва богу, а затем к первосвященнику подводили другого козла, на которого он возлагал руки и тем самым как бы передавал ему все грехи народа. А после этого козла отпускали в пустыню.

Он идет, восстав против деревьев, китов и мира,
пожиратель бережных жестов — людской голубиной чести,
длящейся пяди мизинца, когда, как мощную лиру,
ты плечи не может тронуть против воздушной шерсти,

потому что ключицы раскалены богиней,
повисшей вольфрамом в стекле, умножая накал.
Боги стоят меж мизинцем и шелковой кожей, как иней,
истаивая в пустоту, куда, раз вошел, — пропал.

Тифон идет, одолевши Зевса, вынув из бога жилы.
Пан вспоминает козлиный бег в аравийской пустыне,
и Козел-Христос, чтоб остаться народу живу,
бодает небо в крови и скорбит устами.

Пан, соловей, соловушка, запятая,
грохни да раскатись у девы за рукавом.
Есть семеро муз, но лишь одна золотая,
и кроме тебя с ней еще никто не знаком.

Пан, громобой, ребеночек из корыта,
покачай головкою, с рожками головой.
Солдат кишки свои ест, а в губы любимые влита
ночка красная, словно колокол с головней.

Не пугайся, ребеночек, спасут тебя Нил да ангелы,
да святой Серафим, да бог Дионис, да подлунный зверь.
Ты ныряешь в утробу себя, шерстяной да байковый,
словно снова открыта, откуда ты вышел, дверь.

И плывет по Нилу, русской реке, козленочек
с рыбьим хвостом, завитым, как пружина ума,
а на избах сосульки, и из-под алых косыночек
смотрят глаза, синие, как тюрьма.

Тамплиеры горят на кострах за Христову церковь.
Неба череп шадящ и щедр и раздвинут вширь.
Бог лохматый, как тамплиер, из рыбы цепкой
вынут на жертвеннике и в новое небо вшит.

Магистр-храмовник говорит с Варварой-голубой, а за избой
Дракон стоит стоголовый и говорит как печь
крематория — псиным воем, рыканьем льва да бычьей слюной,
а еще глаголом богов, и внятна дракона речь.

Всем, всем гореть в васильковых кострах из наношенных дров себя.
И звезды воюют страны и материки.
А жест людской, не коснувшись, сберегает тебя,
словно пустая гильза — устье для мировой реки.

Покуда боги ткут ленту метаморфоз в глаза
и в небе встает Тифон за эклиптику и зенит,
Афины русские, как мировая в слюде оса,
висят на звездной слюне, и снег над ними летит

РОЖДЕСТВО I

Над Новой Гвинеей бабочка кружит, Тифон¹,
волны бьются в Валгео, Салвати, Мисуле, на трех островах.
Море держит бомбардировщик, а бомбардировщика слон,
и он стоит на китах о трех головах.

Девушка Лейла матроса ведет домой.
Язык входит в ее промежность, она кричит.
Крик рождает устрицу с симметричной спиной.
Она открывает окно, а там снег летит.

Там Иона плывет в ките и костры горят,
там пастух идет, на спине короб неба несет
со звездой шевелящейся, словно рак в сачке, и стоят,
планеты, шепча, что больше никто не умрет.

Там идет верблюд о шелковых двух крылах —
лиловом и розовом, и там пуля свистит в рукав.
От барака светляк марширует звездой в овраг,
и месяц трясет бородой, в плавниках, лукав.

К девушке Лейле приходят в полночь волхвы,
вот родившийся Царь, говорят, разгружают осла.
Рыбы ночи стучатся в окно, а взамен головы
у погонщика перья и клюв кровавый орла.

Обдолбались, придурки, она с испугу орет.
А потом садится на камень рядом с волом,
колыбельку качает, земляничную песню поет —
Призрел на рабу твою, алейхем, поет, шолом.

У пещеры Ангел стоит и как печь горит.
Что принес тебе Бог, говорит, Адонай, говорит, —
смерть он, Дева, тебе принес — выплеснут из корыт
эти люди Младенца, из тел своих жалких корыт.

¹ Орнитоптера тифон встречается только в западной части Новой Гвинеи и на соседних островах: Валгео, Мисул и Салавати. Это довольно крупная бабочка: крылья самок достигают 22 см в размахе, а у самцов — не более 16 см. Бабочка летает на горных склонах, но иногда ее замечали и в низине, на уровне моря.

Лейла смотрит в глаза верблюду — их три, и в лоб
упирается бивень — не дам, она говорит.
И сама я — смерть, и остров во мне утоп,
и я — смерть стрекоза, четвертая из харит.

Смотрит сыну в глаза, их проходит насквозь, как ад,
и смеется тихо, шаря клешней звездой.
На ее рукаве и платке семь костров горят,
и Дракон сквозь сердце втыкает земную ось.

Мальчик бабочка, говорит, мальчик деточка, лев.
Вот пойдешь в пустыню — найдешь лишь ветер да язык
огненный. А слова к нему, а напев
подберет только тот, кто крылат и когтист, как бык.

Потому что смерть удлиняет жизнь, а слова
удлиняют Бога до тиши, до немоты...
Над Новой Гвинеей в Европе летит листва,
и Клязьму держат на трех фонтанах киты.

ЯНВАРСКОЕ ПОСЛАНИЕ АХАШВЕРОША

Я не речь, говорит Ахашверош-баран,
я не слово, не ум, не имя.

Скажите, ангелы, для чего вы в зубах и когтях алфавит принесли,
на людскую погибель множа наш сон, как чашоба — деревья?

Что ты скажешь Елене, уткнувшись в лебедя языком
вместо красной гортани?

Что скажешь деве, когда она стоит внутри тебя на коленях,
как черный мерин ахейца в черном коне троянском —
живое в мертвом,

а из локтей ее и бедер бьют родники, и из них
лакают слон, гриф и дракон?

Что ты ей скажешь, учуяв вечность и падаль,
звук разгрызенной раковины и червя с раскаленным гвоздем
внутри?

Ее колени — внутри твоих.

Ее голос внутри твоего,
ее воспоминания внутри твоей подлой и верткой памяти.

И язык ее, словно вепрь, разрывает желуди твоего тела.

Что ты ей скажешь, какую букву?

Что ты скажешь себе самому, если себя найдешь?

Скажи ему саранча в щитах и доспехах, скажи ему храп
коня блед, коня блюд, коня блядь, коня блуд, гниющего
победоносно заживо над горой поверженных тел —
не Барни придумал это в Кремастере — Патмос.

Я не речь, говорит Ахашверош.

Я — баран.

Я нахожусь между тем, о чем говорю и тем,
про что я молчу — не просто в живой пустоте,
но в паузе, и это — чтобы воскресли и тело, и слово.

Пройденные дороги, степи, шляхи, хайвеи,
раздолбанные проселки

давят мне в спину, как матрас всеми пружинами сразу,
и из груди моей торчит голова леопарда — моя Оранта.

С шерсти моей течет мертвая, как Лазаря плоть, вода.

Меж тем, о чем говорю и о чем молчу, —
отыщи меня. Я там, как буйвол в москитах, хриплю,
из глотки течет пламя и бежит по земле —
и моря полыхают, в них сгорает гнилая

ЯНВАРЬ¹

Адам уходит от Евы, как белая роза от черной.
 Между лопаток костер полыхает — память о райском свете,
 но яблочный воздух хрустит и гудит, как горны,
 и бросает их вновь друг в друга, сломав затылки.

Как снежок вбивают в снежок, так и лица вбиты
 в одно, развернув на четыре стороны света
 голубые и пару карих. А мимо в битву
 маршем идет легион, колышась в напоре лета

с муравьиной зеленью, с соловьем, гремящим в державных арках,
 раскрытых настежь — теперь уже до победы.
 И венки плывут по каналам в речистых парках
 в честь Фонтаний святых и нимф серебрястых Леты.

Бог Янус стоит в Михайловском замке, Федор
 смотрит, как снег идет за двоих, за троих, за многих.
 Январий — странник, стоящий на месте, сверток
 с небытием — хорошеет, как яхта в высоком доке.

Федор видит, идут солдаты, со спин их смотрят —
 ягуар по горло, Иван-да-Марья по плечи,
 а еще прорастает лавр, шумный от ветра с моря,
 и свечи горят, говорят человечьи речи.

¹ От лат. Janus <от janus> — крытый проход; janua — дверь.
 Самая загадочная фигура римско-италийского пантеона. Один из древнейших
 богов-индигетов, занимавший, вместе с Вестой, выдающееся место в римском
 ритуале. В греческом пантеоне соответствия не имеет.

Функция стража ворот и двойной лик известны и в других культурах, особенно в африканских.

Изображение бога с двумя головами позволяет трактовать этого бога самым различным образом:

символ любого противоречия
 внешнее и внутреннее,
 душа и тело,
 миф и разум,
 правое и левое,
 консервативное и прогрессивное,
 материя и антиматерия,

«вся диалектика находит в этом боге свое пластическое синтезированное воплощение».

Бог небесного свода! человек хранитель от мига,
когда Спермус, как лев с клинком в загустевшей лапе,
первым прорвался к цели и стал над прудом, как липа,
не зная, зачем ему пруд, все эти глубы, хляби.

Федор смотрит, как снег летит, укрывая Невский,
пахнет елкой и медом, змея лежит на комодке,
свитая в обруч, в венки, и белы занавески,
подрагивая от удара внизу топора по мясницкой колоде.

Бог, растущий из пустоты, заключенной в ребрах,
кажущий лики ангелам в паутине,
обворовывающий живых — их отличая от мертвых,
переча вестнику в небе и Богу в пустыне!

Ты расти, моя снежная лапа, бедные люди,
говорит ей Федор, плещась молоком в бидоне,
и ложится в нее, и целует бедные груди,
и плывет в море света, ничей, как тритон в тритоне.

КАМБАЛА

Плывут когтистые корабли.
Ответь, Ахилл, почему уже не уснуть?
Отчего разрывает бабочка на себе рубаху,
а пальцы сделаны из звезды и глины
и сознание омрачено?

Почему ухо, как пеликан, на двух ногах идет вослед за эхом
и в руки словно вложено по раковине из кварца и звука,
и от этого они тяжелей и проще?
Отчего дети кричали сегодня ночью,
кто укутал их снегом?

Звуки-узлы в весла сегодня ввязались,
моряки губы кусают, как грушу, чтоб сдвинуть
мель с места, сдвинуть до подбородка, до сердцевины, до завязи,
до зернышка света, до проростка луча,
в котором ты ловишь себя, как стеклянного глупого краба
в колодце.

Ты стоишь на месте, но тянется за тобой хвост пыли,
словно после джипа на выгоревшей дороге,
ты все еще ящер, в хвост твой вотканы деревья, поселки
и плач цыганки.

*Если не сейчас, то когда же? —
ответь, Ахилл, отчего обеспамятела Елена?*

Зеленый вазелин месят весла,
клейстером тянется луч,
я грызу собственную пятую до корней, до зубов света.
Стоит мировое пространство оловянным ведром.
Я рою колодец на дне моря, в глазу матроса, в убитом солдате.

Остудели предметы. Мычит запаянная в быке.
Я подношу медузу к глазам —
гребок, и корабль минует ее.
Я подношу медузу речи к глазам.
Два самолета летят дельфина — один в Батум,
другой в первую мировую.

Не выговорить слова, не выстрелить из ружья.
В черном быке плещется черная книга.
Струны лиры натянуты на гласные алфавита,
только тронь — зазвучит Алфито, колыбельная песня.
Я грызу себя за пята.

Железный кузнечик играет в шелковый мяч.
Взрывается автомобиль на холме, черный язык шлепается
бабе в подол.

Никто не найдет света, выстреленного в шприце,
замораживающем носорога.
Семь ножей торчат из мускулистых лап улитки.

Кто танцует танец?
Мягкий плюшевый танец в сланцах и ластах?
Кто ищет себя самого руками паука-урагана?
Отчего в улитке кружится мозг Ахилла,
какую Бриссеиду кроит, как доску, до визга?

Рассмотри прозрачную камбалу — не только богов
увидишь в ней — самолеты, весталок, коней, вопли девок,
простоволосых, ведомых в полон,
бомбардировщик, заходящий на могилу с кривым, как коготь,
крестом.

Рассмотри камбалу своей ладони.

Я споткнулся. Мои руки ощупывают костяк времени изнутри
не то ящера, не то вымершего гиганта, не то себя самого.
Вслепую пальцы тычутся в полировку костей,
звериные выпуклости сочленений,
провалы, отверстия, шероховатости, шорохи.
И я уже различаю, Ахилл, где мы теперь.

ЛЕБЕДЬ

Кто тебя создал, кто тебя сшил, влил
в раковину ушную, там заморозил, взял,
выпустил комом из заплаканных в снег жил,
снова расширил, как люстры шелчок — в зал

с белой стеной, с законной звездой в бороде.
Кто тебе клюв подковал и глаза золотил?
В печень кто коготь вложил, сделал, что бел в воде
среди черных семи в черепах филистимлян крыл?

Кто приставил лестницу к боку, чтобы наверх, вниз
ангелы шли, пропадая за облака,
исчезая в тебе и сходя упавшему ниц
на затылок с косой, черным чудом грозы — в глаза.

Кто пламя зажег и вложил, как бензин, в рот,
кто ракушки внутрь, чтоб кололись, гудя, зашил,
чтобы ахнул ты ими, как полный от эха грот,
постигнув, *что за святой* внутри у него жил?

На худо ли, на добро из левой Творца руки —
к сердцу ближайшей, в отличие от остальных, —
ты вышел на волю, словно в знаменах полки,
кренясь и стреляя из пушек, мортир, шутих.

И кто из вас больше по весу, меру, числу,
по свету фаворскому, по совести за края,
святой или ты? Какому свезти веслу
одного — без другого! — воскресшего, за моря?

Кто наносит больше в себя — тишины, огня,
кто взаправду Христов один неразменный брат?
Кто мертвую воду в ночи зачерпнет для меня,
живую кто в губы вошьет, как свинец, свят?

Потому-то и растопырена первая страсть, ночь,
крыльями на весь мир, словно лебяжий брак,
завалить чтоб не голым телом, а перьями смочь
наполнить, чтоб дальше шла, в черепах овраг.

СВЯТОЙ МИХАИЛ С ДРАКОНОМ

Герцог Беррийский смотрит на Часослов,
видит себя, видит, дракон летит,
видит, как ангел из-за двойных Весов,
холкой набычась, вздымает Краба в зенит.

А из панциря льется вода, загустевая в ряд
хвостов, искорок, солнц, созвездий, миров.
Над городом в воздухе Михаил и Дракон стоят,
один бел и голуб, второй — коричнев, лилов.

Какой удара верный кровавый еж
подплыл к чешуйчатой шее, пристал как холм?
И бьется форелью с девичьим ликом ложь,
и Михаил обрастает небом как мхом.

Закипает битва, словно лицо в руках,
от ветра с речки челку с губой кривя,
просыпаясь стоном, рассыпая глаза в лучах
синью и серебром, волнуясь, слезясь, любя.

Это Дух Святой Жанну насквозь когтит,
и лицо, как битва с драконом, — водоворот.
Кто кого увидал, кто кем в тишине шелестит,
в ком отразился кто? Где зеркало, знамя, брод?

Созвездья смотрят на герцога — видят себя,
а герцог видит Жанны лицо в руках,
словно крутится синее зеркало из серебра
в звездах, кометах, драконах, губках, ежах,

в осах, локонах, метках бровей, губах...
И поэтому город внизу отворен, как ларец, и пуст —
все уходят, куда велели любовь и страх,
синее веко да придорожный куст.

Куда уйти позвали дракон да страсть,
сдвигающая светила, чтоб в них еще раз войти,
словно Франциск в терновник, чтоб заново небом стать,
расширенным до твоей, как вдохом грудным, груди.

Поэтому сух на песке корабль и замок пуст.
Гора, упавшая с неба, как торф плывет.
И ходит выдох, как мальчик, меж темных уст,
и черная роза из глаз, словно еж, растет.

ВОСКРЕШЕНИЕ ГАБРИЭЛЬ

Лев в суховее принес тебе красный зев,
чтоб небо держать в белых стадах облаков,
и завиток руна как синий и горький зем-
ли завиток — могилу, звезду кротов.

Матрос принес тебе пульс — океан считать.
Улитка — висок с пружиной, а град Милан
евангелистов, белых на синем, и крест щита.
И вогнутость волн, как бык, принес океан.

Гавриил ничего не принес, он спит, как ерш,
разгоняя сон слюдяной на двенадцать жал —
в каждом видел тебя, в каждом высмотрел, выжил, вмёрз,
а когда проснулся, все воедино сжал.

Принес огонь — петуха да в ночи звезду,
большую, вполголовы, чтоб слаще дышать,
а еще за кормою мшистую борозду,
чтоб камушком падать, наутро дельфином встать.

Принесла тебе смерть с косою — голубой платок,
и наперсток принес — света ведро с Христом.
Я ходил возле губ, как рядом с китом поток,
и взбивал планктон, как черной луной, хвостом.

Я в тебя вошел и вышел с той стороны,
оставив провал земли и семь на зубах планет,
и сухую звезду поперек продольной струны, —
продетый сквозь хрящ позвоночный всходящий свет.

Прости, что не как о живой, но так живет стократ.
И цветок без имени разорвет могилу плечом,
и лев золотой подымет, как ком, штандарт,
в переборках неба играя с тобой лучом.

РОЖДЕСТВО II

Меж звездой и звездой зачем водовоза всхлип?
В бочке шумит пространство, кривясь иглой.
Человек лежит в выдохе между рыб
и кривящейся на огне, словно гортань, берестой.

Меж звездой и лучом вынут зачем совок
черного неба на штык, для кого открыт
света белого ковш и течет, как на пальцы воск,
и, открывши рот, гнет буквы во рту рыба-кит.

Прорастает звезда горбом, горбоносым лучом,
светом, свалывшимся, как тина или халат.
Из семи лучей сам себя пробивает плечом,
как яйцо, верблюду, и, треснув, горбы стоят.

Весь клыкаст и лучист, ощерен, как Габриэль,
на семи петушких висит в ночи плавниках,
и в горбе семиребром утопленник дует в свирель,
и безрукое небо себя позабыло в руках.

Как репей, раскрыт плотным светом наружу верблюду,
а за ним караван — Бальгазар, Яздегерд, Ахав...
Воздух губчат и свеж, и как губы, ручьи бегут
и землю становятся, зыбкое слово сказав.

Прежде встречи они ее в ночь, словно тюк, привезли —
только то, что протянет рука, и вернется назад.
И сгрузили пещеру, и ясли с волами внесли,
и продолжил Марию горбатый, как молния, взгляд.

Мир — лишь зеркало, знали они и сложили дары.
В этот миг расколослось стекло — а за ним пустота.
Маг с верблюдом застыли. Но взгляд их все ж держит миры —
Мать, младенца и пустошь — скрипящим усилием моста.

И журчит колыбельная с девичьих губ, хороша,
и миры, словно зайцы к капусте, обратно идут,
и луна над Империей виснет, как бивень моржа —
это смотря на Бога в упор человек и верблюду.

В. Г.

Темноскул, освежеван, как волк.
Волчьей яме, где Моцарт поет,
ты себя завещал и примолк,
и, как язва, труба настает.

Из последних наморщишься сил —
из локтей, изо лба, из всех плеч —
вырвать клапан из вздутых могил
и мундштук заплевать и сберечь.

Как зеленый стоял богомол
и руками трубу охранял
в белой совести, как мукомол,
весь — разорванный снег по краям.

Кто подзорную держит трубу,
плюща бровь между выцветших губ,
и белок твой краснеет во рту,
словно вырос на голову звук.

Ты как дерево вложен в себя,
сердца красной пятой пробежать
к сталагмиту спинного столба,
свет по капле в кристаллы сгущать.

И мужает твой луч через ночь!
Summertime Иокаста поет,
и Эдип с тобой рядом, как дочь,
танкер света за веко прольет.

И когда череп роза сняла
и толклась в сорока языках,
то приклеилась мертвых смола
к мундштуку, чтобы каждый сыграл.

Не ощупать ни лба, ни щеки,
и не крест их развел и настиг —
это медь заплела две руки,
как улитку, в горячий язык.

И ему, как горбатому дню
у плеча кацавейки глухой,
все сильнее смещаться к огню,
что плотнеет гудящей землей.

И когда загустеет, как кость,
как зрачок, закручинится звук,
ты подложишь себя, словно горсть,
под скулу себе, жилист, упруг.

А у черного моря, ничей,
все бежит у черешни ручей,
из семи замогильных ключей
и из глины, чем трель, горячей.

Ахашверош говорит камням, летящим в него:
ты будешь буквой А и в череп ляжешь,
и сплужишь мой язык, корявый и немой.
Я чувствую в себе аэроплана тяжесть,
летающего за горы за зимой.

Ты будешь буквой Б — безумием весны,
ты раздобишь мне кисть и поясницу,
и леопард сожрет мой мозг, как птицу,
и после станет сгустком тишины,
и красный зев перевернет страницу.

Ты будешь буквой Г в честь Габриэль
и сокрушишь мне печень, как кузнечик,
кующий буквы и подковы речи, —
я положу тебя к себе в постель
и буду гладить волосы и плечи.

Стоит зима, как шар воздушный камня,
и Янус алтарей, как снег, двулик,
и ищет мир в своей парчовой ткани
основы нераздвоенный язык,
и светит Козерог в ночном стакане.

Я буду речью, черным языком,
отбитым клювом, вырванною жаброй,
китом на берегу и мертвой Жанной,
тюремным перестуком и глазком.
Я буду буквой, что утратил мир.

И я, трудясь, хриплю в груди грифона
и выворачиваюсь наизнанку роженицей,
я пеленаю слизью глаза ялик и гондолы...
И я лежу на земле — избитое камнями мертвое тело
с выбитыми зубами и проломленным черепом.

И я строю новый город, Иерусалим — голубя, птицу
из букв — частей убитых моего тела.
Я строю заново меня со вложенной в гортань подковой поля,
и вновь из букв рождаются для жизни мертвецы.
И я, как дева или бык, реву от боли.

Вы видите не вещи, не зверей, говорит Ахашверош, —
не дерево ночью или дорогу днем, —
вы видите отверстия вашей дешифровальной сетки.
Мир не выглядит никак — *выглядит* лишь расшифровка ваша,
одна на всех, с маловажными различиями.
Ах, слово, ласточка, чиркающая по небу,
черная буква, куда полетела?
И клином тянется спаленный алфавит
к Элладе журавлей, богов и снега.
Вы не сову видите — себя,
не льва, ни волка — их вы забыли.
Видите бледное утро в окно, сошедший маникюр руки,
в высохшей слюне любовников,
вереницу огней на светофорах, пробки, парикмахерскую, кредитку.
Про лань вы забыли.
Про лань вы забыли, про белую совесть медведя —
в них, зверях, больше настоялись луна и правда,
словно бы в первых именах, составленных из бородатых
и крылатых букв.

Вы вырезаете отверстия в теле вашем
и ложитесь на пляж, на разбросанные мировые буквы —
что уловишь — твое,
что читается — говорите от Бога.
Но это вы изрезали ваше тело
и тела ваших детей.
Я говорю это в ночь, глотая воздух, как щука,
напрасно шевеля плавниками:
что посеешь — то и пожнешь.
Что бросишь в глотку Левиафану,
то и взойдет твоей жизнью —
мансардой, пляжем, голой девочкой или светлой
птицей с хищной головой Музы,
рассекающей жилы одним ударом
когтистой лапы для новой жизни.
Я нашел своего Бога, говорит Ахашверош.
Никто не видит меня, потому что невидим мой Бог.
Уже не найти следов моих на пыльных площадях Европы, Азии,
на железнодорожных вокзалах, в терминалах, торговых центрах,
никто уже не отшатнется от вопроса: *куда пошел Распятый?*

Я — в мире, слепом для вашей дешифровальной сетки,
улавливающей собой иные предметы, знаки,
иной градус огня, строение речи и тела,
иные ночи, иные дни.
Иные пирсы и лица иные,
иного кузнечика и иные камни на набережной,
иной Рай, и все же — я с вами одно, и волос меж нас не пройдет.
Так пригоршне себя саму не схватить — лишь, образовывая,
обозначить.
Поэтому ищите меня там, где обнимаю шею Единорога,
зверя, не схваченного сеткой-тюрьмой,
там, где буквы пьют, наклонясь к водопою,
и где умирают убийцы в пахнувших плотью камерах смертников,
и ходят свирепо косматые звезды,
где ангел света оброс шкурой мамонта,
а херувим черепашым в ракушках панцирем —
Михаэль, Джабриил, Уриэль —
господства, силы и власти.
Ищите меня в глотке слюны,
в пригоршне ветра.
Как рыба ощупывает океан.

РИСУНОК НА ВАЗЕ.
ОРФЕЙ С ЛИРОЙ

Как ребра, лиру вырвал из себя
и опустил со стоном на колени,
она была без головы сова
и расходилась, как рога оленя.

Топорщилась и морщилась хрящом,
когда из ребер проросла богиня,
собой окутав ребра, как ручьем,
и шевельнув, и прошептав им имя.

Но испаряется, как лед сухой
божественная голова, в заливах
и снах, лишь бедра, выгнуты дугой,
покуда здесь, как будто он пронзил их

самим собой и внутрь вошел, как фалл,
как дуба ветвь, как пульс и как избыток,
как будто сжался марганец в кристалл,
упал в ручей и красной мышцей вытек,

вослед бессмертной растворяясь дотла...
И ей вдогонку лира у колена
застыла льдом, как в вазе из стекла,
чтоб лопнуть, как под топором полено.

А он горит, словно ночной фонарь
над яблочной Москвой-рекой, над баром,
рождая Анн и птиц, и вещим паром
клубится, словно торс или букварь

А лира выгибалась и была
пространством сердца, твердым эхом длинным,
что шло как новый орган из ствола —
клешней и щупальцем, губой и бивнем,

тараня мир и растворяясь им
до той невидимости буквы и сознания,
которой с сотворения творим
творенье и Творца — в немом касанье.

Ласточке ночной слетать в Египет —
передвинуть холм на сантиметр.
И открыл глаза магнитной выпи
византийский трехмачтовый кедр.

Ненаставшее уже настало.
Кто ребро на резкость наведет,
чтобы буква, сдвинувшись, вмещала
небо, словно ласточки полет.

Ей кулак ночной, как в горло вложен,
и земля струится через край.
Сам себя, на черном небе лежа,
сквозь пичугу лютую рожай.

ДЕНЬ МУЧЕНИЦЫ ТАТИАНЫ

Просияла зеленю желатиновая звезда — ушла,
тучи пришли, свинцовые, будто водопровод.
Вот и снег летит, гудя, как подъем с крыла
лебедя-пса, и купол под ним ревет.

Додекаэдр, куб, пирамида, октаэдр, шар —
этот снег и гремуч, и бел, как над Римом миры:
в мышцы стиснутым небом себя до простейших сжал
фигур — на улицах снежных стража палит костры.

Ее, деву, белее снега и с небом в глазах,
били прутьями, но кровь не с нее — со стражи текла,
и солдат говорит, заедая морозом страх:
Почему не кричишь? Неужто еще цела?

А она говорит: что снаружи, то и внутри —
у меня под кожей стоит апельсиновый шар,
в нем четыре ангела, зеленые, как пруды,
и ваши прутья ломаются об их непорочный шарф.

— Я их тоже вижу, — ей говорит солдат, —
но у тебя, говоришь, поют, а у нас сокрушают кость.
— Что пенье внутри, то снаружи огненный плат,
свист батога, раскаленных угольев горсть!

И тогда солдаты уверовали и крестились кровью в Христа.
Но пришли другие, взяли за белые плечи, свели ее в цирк.
Лев идет по арене, как огонь на когтях по форме креста.
А и снег-то летит, как миры, словно с саблей кривой сарацин.

И кружат додекаэдры, кубы, шары, пирамиды вверху,
приближаясь, танцуя, и улицы в полночь белы.
Кипарисы, как вата, и статуя Марса в снегу.
И стража ночная несет на носилках костры.

А лев ходит вокруг и рвется, как в вихре огонь,
держит репу из бронзы в когтях, в другой лапе — божий глагол
из секретного сплава, что фалл золотит и ладонь
и оденет сплеча в горностаи, коль вправду гол.

Говорит Татиана: у меня внутри ходит лев,
там зовется он Марк, там он грозен, улыбчив, зряч,
и поет он святой да единый, да неразменный напев,
в райских садах он играет со мною в мяч.

И когда снаружи за волосы взял палач,
то внутри граф Шувалов на подпись отнес указ,
и не Север Александр вжал каблук в зеленый палас,
а Иван Иванович, граф, Моховой золотил рукав.

Альма Матер стоит, гаудеамус, Университет,
золотым рукавом держит голубя у груди,
и шумят тополя, и в Москве разбежался свет,
тополиный да яблочный — в белую грудь колотить.

А потом Казаков Матфей с Татианой в шаре внутри
горячей печени, выстроил церковь, гремя
клевнями в снегу, и летели над ней шары,
пирамиды и кубы, как вспышки из-под кремня.

Если эти тела по порядку друг в дружку вложить,
их вписав предварительно в сферы, получим ряд
восходящих орбит — вот Меркурий по кругу бежит,
вот Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн друг за другом летят.

Кеплер Иоганн их вкладывал, горячась,
догоняя с Платоном гармонию, музыку сфер,
и расчел и вычел, и вынул ребро, как часть
ангельских кантик, и пением держится свет.

Возьми же мой выстрел сердца, дева-любовь,
как снежок разломай, словно клетку грудную льва.
Все миры снаружи бегут, лишь покуда бровь
внутри, словно снежный мост, весь в буквах от веры, жива.

И покуда цапля-любовь внутри на одной ноге,
и клювом, стоит, чиста, и им до звезды достает,
летят додекаэдры, кубы, шары, пирамиды к реке,
и снег их горяч, и никто под ним не умрет.

Пусть летит он, гудя, над садами, мостом, мостовой,
над кремнем и собаками, когтем сжимая звезду,
пусть куёт он ее, как медведь косолапый с косою,
и сгибает подкову, и дует в дуду на мосту.

Пусть кружится Татьянин снаружи, внутри, и опять
пусть летит этот снег, дом, как букву, собой серебря,
и идет снежный лев, держит в лапе, сияньем объят,
мир как череп Адама, и звезды в крови у ребра.

Снег идет, как снежный лев,
кажет людям красный зев.
Кажет когти налитые
и клыки свои стальные.

Что снежинка — не витийство,
что пылинка — то убийство.

Кто лежит тут сгоряча
в дольках, звездочках, подковах —
от плеча и до плеча
ворох крыл растет медовых?

Кто зажат как внутрь аорт
меж собой и прочим людом,
кто гремит собой, как блюдом,
так шерстист, крылат и мертв?

ФЕВРАЛЬ¹

СМЕРТЬ ОРФЕЯ

Ты музыку снес в Аид, как будто бы чан
плача по далям, что только ты разглядел.
Ты шел, как дельфин на хвосте, застрелен и пьян,
и лиру как жабру разжал и до крови раздел.

За собой ты внес и Аиду привычный звук.
Чем же взял? Силой какой связал?
Что такого слышали здесь, что не стало рук
удерживать деву? Что выплакал, что сказал?

Не ту ли, переходящую в сантимент
смерти тоску по живому, по плачу, цветам?..
Ты взял их жизнью на фоне смерти — так ветер,
флейтой пройдя, тлен возвращает устам.

Ты взял их бычьим бегом по небу планет,
плеском волны, волосами у очага,
раком пространств, толкающих влажный свет,
раковиной сойтия у мрака и бочага.

Ты взял их тем, чего им не хватает, *чтоб — быть.*
И шел назад, и следом подруга шла,
и костер горел на стопе и виске, и плыл
от этого облик ее, и кожа обратная жгла.

И ты понял, что проиграл. Что лишь тот бы и смог
вывести в жизнь, *кто глубже, чем смерть*, вскопал,
кто небу прошел за ребро, разрыхляя, как носорог,
эту плаху из сини, и плугом кривым поднял.

Ты понял ошибку — дальше смерти ты не пошел.
Дальше *смерти земной* не хватило у лиры бедра,
жил не достало, жабр не осталось — шелк
мышц затрещал на разрыв на таких ветрах.

¹ Месяц посвящается подземному богу этрусков Фебруусу, «родственнику» Аида, происходит от лат. *februarius*, «очистительный». Зодиакальные созвездия февраля — Водолей, Рыбы.

Ты умер меньше, чем дева, чем злак, чем сам
Тартар-Фебруус, и глубже ты не вошел,
чем просто могильный червь — в землю, к губам, глазам
распавшихся тел и кустов, городов и пчел.

И теперь, когда она возвращалась в свой мертвый град,
ты копал *свою смерть*, как крот о семи руках,
как лопату, вгоняя лиру в свой холм и сад,
уходя за ребро, за себя, за свой развеянный прах.

Ты горел о семи кострах, о семи плавниках и рвах,
и ты жилы рвал, как шахтер, уходя в забой,
выходящий не там, где жизнь, но где, как в овраг,
ты выпал *за смерть* и *за жизнь*, и с Богом совпал — с собой.

Ты дымился в Аиде теперь, словно черный куст,
головней, спаленной дотла, выжженным шлаком, дырой.
И несла тебе Эвридика ковш пересохших уст,
и деревья и боги тянулись на водопой.

ШЛЮЗ

Громыхнул в тишине лебедь-пёс, словно кровельный лист,
встал на крыло и в полнеба вошел, как сын.
И за ним секиры свистят, бесчинствует свист —
голова базилевса валится, как апельсин.

Где взлетел он? Снаружи, вовне, в хребте
долговязого мира или внутри тебя?
Где ты сам — накануне, потом? В какой крови-высоте
распахнулся на призраки, словно на лес изба?

Слышишь, капают капли, и лист по камню шуршит.
Видишь, утки, как буквы, на речи-наперстке стоят.
Тихо озеро дышит, и дрозд в бессловесность спешит.
В небе лодки без весел себя отраженьем двоят.

Где же уха раковина твоя, взведена, чутка,
зрения эхо где, безмолвной кожи прилив?
Ты бродишь средь пыли себя, и смеется божественный Ка,
за семью холмами белую выпь окрылив.

И колышется в ветре сирень, словно Левиафан,
тяжелея и пяля на мир заколдованный глаз.
Бог стоит над тобой, словно окунь, а в нем океан —
только ты и могуц быть единственным шлюзом для вас.

ПЕШЕХОД

Он по асфальту в пузырях идет,
и дождь по черным лужам моросит,
и небо в лужах, и асфальт лежит
со всех сторон, и он идет вперед

и движется легко, и пузыри
высматривает, шаркает ногой,
он через дождь идет, пусты миры,
и мокр асфальт, зернистый и немой,

он, шаг за шагом и за годом год,
идет вдоль луж и вздутых пузырей,
вдоль луп и линз, дождя, косых ветвей,
нога, асфальт, нога, туман и дождь идет,
он не прервет свой шаг, когда звездой морей
из пузыря Левиафан всплывет,

и он идет, и дождь стоит в грязи,
и пузыри бегут, вокруг, всегда, вообще,
он меньше вдалеке, и больше он вблизи,
он в каждом пузыре, он миллион в дожде,

идет, бежит, вчера, пузырь, асфальт,
а он идет пузырь и силуэт,
и дождь трещит, словно колода карт —
на всех картинках лужа и валет

над лужей, он идет, валет, стекло, рассвет
пузырь, колода, карта, силуэт,
он в зарослях дождя, куда б ни шел,
и незачем ему кончаться ни к чему
и начинаться тоже не с чего ничем.

МЕДУЗЕ

К тебе, богоравной, прижмусь — устами в уста.
В твоей речи О катится через весь океан
колесом улитки, и сквозь тебя звезда
падает, как кольцо, в полный от слез стакан.

Тихую речь говоришь, выйдя из тел
богов, их солнечным склеенным веществом.
Кого хочешь ощупать, какой предел,
что не взять руками, но можно плеснуть веслом?

Боги оставляют весть о себе — огнем, ручьем,
и о душах своих — желатиновым слитком в волне,
и, к чему не добраться оптикой и ружьем,
достаёт мягкий коготь в пульсации и слюне.

Прикасаясь к под языком богам,
к мягким улицам, что ты из глаз вынимал,
как только родился, к Моргане, к любви ногам,
тающим в общей утробе, как соляной кристалл.

Сплошные кульги — к таким вот приходит Пан,
выпростав руки из нимфы и тростника!
Голуби серафимов! Небеса никнут к вам,
как тянется глаз с соринкой к мякоти языка.

Камень отжать — до воды, а бога — до вас.
В миг зачатья сначала она стоит,
и двое входят в нее, переливаясь в глаз
глазом, и океан Венеру собой шевелит.

Она всплывает в ухо, ошупывающее себя,
чтоб вывести к буквам, клювам, иным небесам.
Она-то собой и рождает опять тебя,
переливающегося в небытие по краям.

Она — это и есть твое письмо
в будущее, где больше тебя, чем воды.
И оно плывет как звезда в трюмо,
склеивая слюной когти, простыни, льды.

Посмотри в ее плоть — изнанку богини любви,
вход к ней отсюда, как к мученику столпа,
что становится камнем во взгляде ее глубины
и сходит собой — в иные дали — со лба.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Родник и камни, и глоток воды.
В утробе замерла комета.

ГОВОРИТ АХАШВЕРОШ

Не словами я говорю — вещами.

Из уст моих бьет родник, на веках топчется слон,
загоняя бивни в небесную синьку,
трубя, как ангел, в кривой костяной рог,
чтоб слышали товарищи,
что время кончилось. Что весла вошли в лодку,
лучи вобрались в светильник, и все,
что говорило, достигало, мелькало,
как перепела под мелкой дробью —
вернулось в огонь. Вобралось в звезду,
упало в свет, исчезло.

Петух растет из моего заливка —
живое пламя, расклеивает мне печень,
голосит — и ангелы слышат.

В вас слишком много глотков, говорят они,
и голос их подобен чудовищной изнанке грома,
похожей на болото с затонувшим зажженным окном,
— Вы глотает чаще, чем нужно,
и вы, как переполненный бассейн
проливаетесь за края своего тела,
как солнце за черный диск затмения,
и там, наконец, теряете форму, теряете одежду, прежнее имя —
остается черная вода.

— Вас вливают, как клейстер в автомобили,
как желе, — в яхты и самолеты,
как пористый герметик, — в чужие позвонки и утробы.

А вы глотаете, словно небо, Иону,
творя собак страха и китов насилия, а также
сжатый жест самоубийства, похожий на руку, ставшую пауком
обнявшую сетью саму себя.

— В паузе, — говорят Ангелы, — найдете себя.

Между медведем и Мельхиседеком,
мужчиной и женщиной,
вдохом и выдохом,
рождением и смертью.

Огонь — это пауза, крикливый, как баба, петух,
сокрушающий и творящий миры безруко, как угорь.

— В звездах лежит человек, говорит Ахашверош,

Он будет расти медленно, как сталагмит,
отвердевающий жидким светом, пока не дойдет
до своего подбородка.
Огромный младенец-овен смотрит в глаза тигру,
а я варюсь у него в кишках,
чтобы — *стать*.

НЕОПАЛИМАЯ КУПИНА

Лев открывает пасть, но еще не открыл.
Задержись в этом миге,
водрузи в нем алтарь.

СКЛАДКА

Как складка ткани может выдержать себя?
Когда вокруг миры и танкеры, убийства
и джипы, и в горах идет война, и голосит
на сцене тенор мировой, а нефть пылает,
и руки к небу вскидывают футболисты,
и перепахивают боинги пространство,
и дева деву наблюдает, как Луну.
А в ней ни мышцы нет, ни формы, ни созвучья,
на всю нее — она сама и только.
Немыслимо...

ПРИКОСНОВЕНЬЕ

Между ладонью твоей и гривой подруги,
когда бы ты знал, какие пещеры,
шельфы, слои, пустоты, крылатые судьбы,
а также ты сам — еще в утробе, еще нерожденный,
и смерть твоя, она тоже там.
Впрочем, в любой она точке, но там
она под твоей ладонью — как танкер, под бабочкой белой...

АНГЕЛ

Как он нанизан на рассвет — не отличить,
где он, где дерево, где куст, а где волна.
Так порой
не отличишь ты самого себя
от самого себя,
вот так и ангел.

Кто розу вскопал, как кулак,
лопатой кто веки открыл,
себя выносил на руках
и шепчет губами могил —

по том эта роза горчит,
по том она — неба ручей,
и шаркает и молчит,
чем дантов язык, горячей.

Дай ощупаю клетку грудную,
чтобы ребра ее перебрать,
чтоб, нагнувшись над краем, вживую,
руки врыть, как крота, в виноград.

Что и выскажешь, шевельнувшись
во всю клеть, как одним языком,
сам собой, словно телом минувшим
и безруким дельфиньим прыжком?

И кого тогда вместе творили —
землю с дроком иль небо в плечах?
Двинь язык, словно холм на могиле,
чтобы Лазарь проснулся в лучах.

ПАМЯТЬ ИГНАТИЯ¹

Деревья являют телесную форму ветра,
Волны дают жизненную силу Луне.

из «Дзэрин Кушу»

Ветер идет, окутывает деревья, но гнет
их внутренний ветер, согласие изнутри.
Так и с подковой, так и с титаном на фризе,
согнутым девой, как дышло. Смотри, как цветет
плавный рот его мукой согласной, как лилия в бризе.

Так и со всем остальным — прежде птицы согласие петь,
прежде танцора — готовность на жест, разымающий позвонки,
прежде неба и мыса — внутренний тихий ветер,
выгибающий глаз по форме мыса, реки.
Лишь туда, где ее позвали, приходит смерть.

Как два хора они поют — внешний и внутренний ветер,
жизнь снаружи и жизнь изнутри; святой Игнатий
их подсмотрел у Ангелов: согласие прежде совета,
понимание прежде вопроса, смысл прежде рожденного слова,
два хора, изгибающие друг друга — течение и водоросль.

Бег формирует коня, а слово любви — губы,
и время — лишь пластика выпуклых от напора глаз.
Все — взаимнообратимо, одновременно.
Два льва идут — на них золотые шубы,
внутри их — зрячий, золотой, словно мышцы, глас.

На трибунах гудит толпа. В позвонках у них светляки.
Разорванный мученик ложится во львов, как в ров,
и ангелы одевают, как мальчики, золотые венки
и поют антифон, словно переливают кровь
из правой своей, косматой, как кровь, руки

¹ Священномученик Игнатий Богоносец, родом из Сирии, был учеником святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова. При императоре Траяне был разорван львами на арене цирка. Изобрел антифонное церковное пение

в левую. Только музыка уравнивает льва
внутри человека и человека внутри
льва. Согласье прежде, чем просьбу. Тишину и слова,
встающие, как медленная трава,
втянуться в формы, откуда звуки ушли.

Так ангел голос вкладывает меж когтей,
так череп тает в медленный умный свет,
и рука под перчаткой находит чужую тень,
и львиная лапа, как Бог, оставляет след
меж двух голосов и между живых бровей.

ГАНИМЕД¹
(ВОДОЛЕЙ)

Вы не настали еще для волос, для глаз,
не сложились еще до коры, до ручья, быка,
вы встаете, как Гималаи, чтоб дотянуться до нас,
но соскальзывает с лопаток ваша в земле рука.

Боги, запрягающие верблюда ручьем
и флаг — Бореем, и бритву девичьей веной,
лампу дорогой и вытекший глаз лучом,
и ствол патроном, и Афродите пеной!

Прежде какой причины ты как ответ стоял,
втягивая, как пена прыжок дельфина, — колено
Зевса и коготь Зевса, цепляющий, как причал,
твои гнутые плечи, пастуший венки и вены?

Ты же сжимал в себе пустоту,
как верблюд континент или дева девство,
как сжимает ужас в себе красоту,
чтоб умирать, выдыхая ее блаженство.

Дарданец на склоне бедных пастушьих гор,
сжатый в себя, точно в мертвую пядь с запиской,
ты был пуст, словно раковин мертвый хор
или зола, простывшая за задвижкой.

Ты был много пустее, чем тебя углядевший бог,
чем его отец, чем его отсутствие, место,
в котором нет ничего, чем тишина между строк,
внутренность перстня, самоубийцы кресло.

Из двух мигнов ты выбрал — ни одного,
ты креп вне времени, корнями войдя в начало.
И не орел, чтоб нащупать себя самого —
Олимп рванулся к тебе, как на круг гончарный.

¹ Ганимед, виночерпий на пиршествах Олимпийских богов — один из прообразов зодиакального Водолея. Был похищен Зевсом, принявшим образ орла.

Роза из глубин руки росла,
губы возникали в недрах слова,
озеро вставало из весла,
отразившись в нем, словно основа
плеска, звука, весел и числа.

Мир обратный, гребень дорогой,
нижет воздух как удар когтистый.
Нет тебя. И шар стучит тугой.
И в тумане плотном и волнистом
мяч в дельфина вложит китобой.

ЛЕБЕДЬ-2

Посмотри, как сам себя он не осилит,
как две чаши сдвинуть не велит,
как налит и как обратно вылит,
в небо вшит и в пахоту расшит.

Вобран как и как опять расширен,
пуст, как свет, и сплошен, как кремь,
как могуч, как выверен, бессилен —
лишь аортой вены не задень.

А полет, словно тела на фризе —
падая, растут, и никнут, восходя.
Набухает капля на карнизе,
чтобы кануть в небо погода.

Дали, эхо, тела вдох и выдох,
жизнь, века — всего наперечет.
И стоят глаза на синих рыбах,
птица движется, свеча течет.

Кто атлетов вместо мышцы вдунул
с бережливой смертью у локтей,
с безосновной жизнью, с тихим гулом
поворота камня у ногтей?

Озеру его гребком не сдвинуть,
он, как блудный сын, уже пришел.
Он вошел в себя — себя покинуть,
и покинул, и вовнутрь вошел.

Он себя, словно костер, все гасит,
как сугробом на плечи упав.
Кровь бежит и опадает ясень,
и беспальный входит свет в рукав.

И стоят глаза на синих рыбах,
птица движется, свеча течет.
Дали, эхо, тела вдох и выдох,
жизнь, века — всего наперечет.

К ГАБРИЭЛЬ

Как олени рога, рыла воздух моя рука,
в оттиск время текло, застывая, как шлак, хотел
и сберег в Помпее овцу, подругу, быка
в форме огня, в виде отсутствия тел.

Я ощупал купол внутри — лишь тогда он в воздух проник,
и я пальцы в рану вложил — задышал океан,
я продвинул в букву вырванный свой язык
и ею прошел насквозь, как хижиной ураган.

Габриэль, голубиный отель, остальное от дивных нор!
Как святая земля, что держит ходы кротов,
из себя вынимаешь мой шаг — так рождает хор
тишина — чернозем для тихих его голосов.

Можно вдвинуться только в то, чего в жизни нет —
в будущее, в себя самого, в ангела, смерть,
в то, что — не ты. Это как держит свет,
спичка, сгорая. Как в ангела входит твердь,

чтоб исчезнуть и вырасти в тот же миг
в птаху на призрачном от луны
кипарисе, в билетик, коралл, ночник,
переливаясь сквозь небытие, возникая с той стороны.

Ты и есть этот ангел, которого не обойти —
пространство дерева, птицы, солнца, пурги.
Прежде, чем был Авраам — ты *есть* как исток пути,
как выпуклая булавка — сжимает исток реки.

Девочка в босоножках, пауза времени, ход
в пустоту, возводящую, словно коралл, костры,
что горят, принимая, как партизан, самолет,
жизнь и смерть, и все, что там между, — как святые дары.

СИМЕОН И МЛАДЕНЕЦ.
СРЕТЕНИЕ

Стоит над городом Симеон, храм прижимает к сердцу.
Снизу поток бежит, солдаты коней ведут, дети бегают у потока.
Симеон смотрит на храм — на скворечник и открывает дверцу,
там две горлицы трепыхаются — мать дитя принесла пред Бога.

Берет ребенка Симеон на руки, поднимает под небо смерти,
куда умирать сам идти собрался, смотрит и видит,
как расширяется от него, словно по кругу, ветер
весь в тишине и крыльях, и лентах с очами, нитях.

И словно это младенец теперь держит храм-скворечник
со стражей внутри и с ним внутри, Симеоном,
а он идет сквозь воздух, будто медведь, и хрустит валежник,
куда не ходил, идет, и стоит под деревом лимонным.

А в лимонах-плодах — города, ангелы и святые,
и дальше острова с их Зевсом, форумом, палатином,
и Константин держит букву в обнимку, власы у него седые,
и кит плывет по волнам, внутри с Константином.

Расширяется ветер от тихого мальчика, гули-гули.
Никогда до сегодня он, Симеон, еще не был на свете,
а бродил вокруг, словно пес, а теперь вот будто раздули
пламя в костре, и вошли в его ноздри и жизнь, и ветер.

А потом поднимается мать и берет Симеона
на руки, говорит, не бойся, дитячко, старче.
Видишь, меч у меня в груди белей Парфенона —
все исполнилось, как ты сказал, но погляди дальше.

И смотрит на мир Симеон, но не сам, а глазами Бога.
Видит саранчу в латах, горькую книгу с печатью,
с кровью видит моря и звезду Полюнь, и дорогу
с Драконом, и Агнца, умирающего с печалью.

Видит большого пса, что оброс, как репьем куполами,
мальчиков мертвых в глазах у него, и на теле много
мертвых людей-волос, а пес-то с колоколами
играет шалун, жалуется недотрога.

И Симеон говорит: хорошо, а больше молчит как начало
света блаженного и горячей реки Жизни.

И река Духа текла у него из утробы и зверей поглошала,
и его возвращала в Храм, где стоит он в жилах

и тонких лучах с на руках спокойным младенцем,
с матерью, что отдавать его сперва не хотела,
и на груди его так и открыта дверца,
куда ангелы с цаплями входят и поют вовсю, без предела.

А Бог, которым он стал, говорит, стой там, отче.

Вернешься ко мне потом, вместе с ней и дитятью.

А ты никуда и не уходил, а взял Меня на руки, кротче
червяка, освещая и их, и Меня его смертной пядью.

ТЮРЬМА НА ОСТРОВЕ

Рыбью кость вложи мне в рукав и глаза развяжи,
и раздвинь этот остров ладонью, сырой, как ночь,
выручалочкой-палочкой перестучи этажи,
отломись, как земля, как краюха, не уходи прочь.

Звери чудные там за решеткой — Артем да Иван,
плавники острые, как слюда, небрита щека,
и грызут они воздух, как кость, словно град Ереван,
и лакают луну, и роняют слюну, как река.

Ходят вдоль, поперек и хобот в окошко кладут,
дотянуться чтоб легче до костяной травы,
а за спинами их, как крыло, загубленные растут,
мальчишки, девочки, девы — из муки, из муравы.

Они живы тем, что им принесешь, — тобой.
К ним лестница с неба ведет о семи ступнях.
Сходит к ним ангел с отрубленной головой
да Божья Матерь на убиенных конях.

Еще сходит ангел-губитель и Страшный Суд,
ломает череп, как нижнюю к ним ступень, —
он с кольцом в носу и черви его везут,
что вскопали могилы окрестных семи деревень.

Пахнет хлоркой и потом, йодом с мочой и тем
ангельским лугом, что, будто бы зверь, живет
глубоко сам в себе, а все, что снаружи — тень
от его пожара, от белого дня сирот.

Он придет и взвалит на плечи остров с зверьми
и пойдет отмывать, а потом к себе позовет.
Поцелует в лоб, чтоб больше в крови не утоп,
и в орлиные крылья, словно быка, впряжет.

Чтобы небо пахать да звезду называть не зря,
чтобы плуг на земле мертвецов отворял в ответ.
Чтоб втянула когти и пошла к водопою земля,
и лакала из рук их черный, как бивень, свет.

ФЕВРАЛЬ

Крестьянин греется у очага, подруга
задрала юбки дальше некуда, снег
падал всю ночь, и бела округа,
воздух трещит от мороза и скрипа телег.

Скажи мне, Ангел, кто подставляет зеркало,
чтоб все это держалось, выдыхало пар, *было*?
Где под моей кожей этот снег, этот крестьянин, поле?
Где мой внутренний снег, внутренняя щека, индевеющая от ветра?

Не будь их, разве б мы с тобой увидали
их отраженье? Иль внутренние небеса
содержат в себе звон колокола, дальний городок, ветер?
Или огромный медведь-февраль

пришел из небытия и влез в душу, как в поле?
Скажи, скажи, мне нужно знать!.. Но разве ты ответишь...
Кто и когда тебе отвечал! — Только душа,
словно крик конькобежца из полыньи — ясно, бесшумно.

Не только пейзаж.
Сам себя я держу, как воздушного змея за кончики крыл.
Скажи, душа, как мне это держать
когда зеркало лопнет?

Крестьянина, снег и телегу,
и пламя очага каким напряженьем сберечь?
Каким усилием, когда осколки зеркала рухнут к ногам?
И весь остальной мир? Или не я должен это сделать?

Но разве есть кто-то еще?

МАРШРУТ

Non usitata nec tenui ferar...

Гораций, Оды, 2—20

Человек-бабочка, как воздух насквозь, гол.
Крылья повыцвели — тот еще цвет, луч.
И он собран в грудины, как над Клязьмой внизу холм,
и он стянут в хребет, как серый медведь туч.

То-то жива земля, а он трачен и полу-мертв,
а во рту она и стоит, на зубах скрипит,
прорастает цветком из губы, губой из аорт,
бьет по глазам крылом и, как бык, хрипит.

Земля городов внизу стоит на поду,
на подушечках пальцев, на хлеба краюхе дурной.
В серебре ее рощи напиться идут в поводу
да разорванный воздух разорванной ггут губой.

Он мохом оброс, обовшивел, как разум-луч,
человек в нем точками дышит, нацелен, жив.
Он в крыльях, как щель, он ищет к себе ключ,
чтоб звенел в полнеба между широт, жил.

Там повыше — не там, где поршень, пежо, чиз! —
где медуза в крови холодит, как звезда, карман.
Он наморщил лоб и не глядит вниз,
а в глазах его пустота да непойманный зверь орлан.

Он отсюда не видит, как дерет загривок печаль,
он крыло напруг, вдоль когтя его вложив —
здесь мужи живут, как на горах овчар,
каждый собственной речью — словом грудным жив.

Их-то он и искал: влететь в этот звук сфер,
в речь семи языков, в букву первого дня...
Но он воздух меряет дальше, как землемер,
потому что там больше его самого — огня.

Потому что сжата, словно в кулак, там жизнь
и заходит, треща, за смерти сухой хребет,
как заходит под прессом руль за щиток и синь,
потому что ты порох, а это — исход, свет.

Он оброс драконами, он встает, перевит
Голландией с Клязьмой, сам себя их когтями взял.
Его мышца продольна, он, как носорог, дрожит
от неба на черепе и черпает свет — ял.

Он теперь только бицепс, реслинг с косым крылом,
он уже никто, он уже только дочь в ночь,
и он держит дистанцию, словно земли ком,
и он взвешен и прост, как в пузыре нож.

И он в тыще морщин, как ближе к трубе трубач,
и он здесь настаёт, как пуля внутри ума,
и сияет луч, на который летит грач.
Солнца снаружи быть — та еще, луч, тюрьма!

И он себя посылает бабочку — в огонь прах!
И вспыхивает лампа на дачном в небе столе...
И спускается умный свет семи ног, наг,
подорожник растить, как порох в черном стволе.

И играть серебром в листве и называть слова:
филином, Богом, Пантикапеем, ручьем.
В неразменной крови гудеть львиным эхом рва
и из гроба всходить искривленным в ребро лучом.

САНДРО И МОРСКОЙ ЕРШ

Гавриил, парящий в складках, как будто в ряби.
Мадонна изогнута, как траулер выбирает
сеть с живым серебром из самого сердца хлябей —
Сандро ищет объем и глубь и подбородок кусает.

То расплывится в башню, то камбалой пляжа ляжет,
то станет мадонной, стулом, притоком Арно.
Он ищет кирпич пространства и узел пряжи,
начальный модуль, вход для объема, арку.

Ерш слюдяной, розы объем живой,
лепестки и шипы, створки и плавники!
Потому-то стоит он на небе свирепой звездой
и ей же, но рыбьей, виснет на дне реки.

Зонт шипами наружу, мадонна в слюде,
выгнутая как груша, ангела предварить,
пронизанная ножами, повисшая в пустоте,
чтобы, как ерш, стеллой морей парить.

Гавриил навстречу летит, весь лунной слюдой промок,
словно к пяткам приклеен, тянется вслед океан
всех остальных вещей, и, дойдя до ног,
вынимает из бездны сеть, привязав к ногам.

Сандро плохо, он видел костры из картин и книг —
тот же ерш, только красный, с языками из жабр.
Они дышат и воздух хватают, и крик
во рту бесшумен и кругл, как шар.

Луна в лучах, голова в огне или тело на
шелке простынь, жалящее твое в сто игл,
перекатывающееся внутри — и одна на двоих волна,
а потом ложится в черное небо, как в ил.

Модуль плотного мира, объем с шипами, повесь
на них чего хочешь — шелк, панбархат, шифон,
и будут Людовик и Сталин, Наполеон и весь
в Гуччи и Прадо подиум, дом, сезон.

И Сандро смотрит, как в Бога, в морду ерша,
и терновый венец переходит ему на бровь,
и он в небе стоит, безымян, как стекло этажа —
небо пенится смыслом, словно ладонями кроль.

ВИНЬЕТКИ ЧАСОСЛОВА

Воин чудный охотится на улитку,
полуящер в золоте, полустраж —
отражает ее набег с башни,
громоздится над ней, как еще этаж.

А второй бабочек атакует мечом,
обороняет воздух от мотыльков.
Третий ловит из засады невиданных птиц,
бородат и шелков, как в солнце альков.

Я тоже охочусь на зверя-Бога,
размахиваю азбукой, вооружен как Давид,
а он смеется моим же смехом
и крыльями бабочек шевелит.

МАРТ¹

РОЩА МЕРТВЫХ ЯЗЫКОВ

После Палаццо Веккьо, каналов и отражений,
где Европа лежит в расплывшемся до быка гробу
с перламутровыми глазами.

После девочек в барах, собак-истеричек, вопящих вослед,
после равенства глаза и ангела,
героина и гири
наступает роща мертвых языков.
В нееходишь, как в шевелящиеся водоросли.
Языки прорастают из плеч, висков и лодыжек,
красные мертвые языки на живых стволах,
похожие на людей, которых вы видели
выходящими из арок, из раздвинутых ног роженицы,
из самих себя, разверзая рот, словно клубень,
прорвавший мешковину.

Роща немых языков, ошупывающих пространство,
как мидия внутренний рот,
изнанкой перламутра приклеенный к борту танкера.
Войди в эту рощу со мной.
Будь мертв, как узкий и ясный месяц.
В роще мертвых языков покалывают новые слова,
тонкие, как игла в голом мальчике,
красные, как глаз быка, в котором гудят ряды амфитеатра —
в галстуках будущие мертвецы.
Войди в эту рощу со мной.
Истончись, стань невидимым для остального сознания,
посмотри, как, беспалые, они хороши!
как корчатся в родах, как, жадные, сглатывают себя.
Как треплются на сухом ветру.
У этого глаза чародея из Флоренции,
руки-клубни, и вжат он в речь, как плуг,
выковыривающий картофелину плеча на пахоте —
белого женского плеча со словом в проросших красных губах.

¹ Месяц назван в честь бога войны Марса. Зодиакальные созвездия — Рыбы, Овен.

Мертвые языки звенят колокольчиком,
гниют и восходят вновь.
Ты знаешь их слова: ангел, хвощ, матка, глина и синь.
Но им их не произнести.
Сами себя мы сжимаем, как плоскогубцы,
чтоб перекусить собственную голову,
и лишь тогда расслышать их речь. —
Череп, улитка, мост и капля сжаты этим усилием,
и парус потрескивает, как лобная кость.
Я, Ахашверош, стою в роще,
погружаю руки в себя, как в ил,
и нащупываю левой — Луну, а правой — Солнце.
Пока умирает роща, я стою в роще,
черные, как ногти, языки говорят со мною,
как кровь, черные, как чугун в невесомости ночи,
как лимфа мулатки на той стороне луны.
Как мертвые дети. Кто я, чтоб это снести?
Всего лишь колокол башни.
Ястреб в небе. Игрушка ребенка.
Я сглатываю хрупкое небо.
Я говорю распавшимися языками, —
и вяжется в теле вновь берцовая кость, как груша,
и ангелы реку несут, как Лазаря, на носилках,
и кровь бежит вверх по телу,
и вниз нисходит, как небо.

МАРС¹

Сыграй мне военный марш в трубу, мой снигирь, птаха!
Бог-Марс трясет мотороллер, и снег, как медведь, бел.
Его крылья в соплях — два ерша плавника, и плаха
вделана в горло, и вытатуирован водораздел.

Не надо ему ничего говорить про Алкиппу.
У бессмертных мечь не в чести.
Ради Бога, ничего про Алкиппу.
За ремень это синее небо с богами не унести.

Он рвет скобу и спешит туда, где с ней они лягут
во всю длину — от Антарктики до Луны.
И ерши будут перешептываться и жевать бумагу,
и богиня кричать, полна золотой слюны.

Из такой слюны делают в Москве каналы,
летом шумят загребные, тополя тычками шуршат,
как серебристые рыбки в ветре, и светла канонада
солнечных зайчиков, и в расчалках чайки кружат.

Только не про Алкиппу.. Вы не знаете,
что они сделали с ней. Не знаете.

Ах, как протяжна медуза в фосфоре голубого тела!
Только Любовь ляжет сегодня со мной.
Я вплыву в нее, ерш, как брусок подводного тола,
и взрывом выстрою Афродиту с белой рукой.

Все равно они меня уже зарезали, мама.
Я лежу в дирижабле нимба, священный бог,
меня сносит в сторону какого-то срама, хлама.
Алкиппа, доченька, я внутри от крови промок.

Отчего же ты приходишь ко мне всегда
в образе монстра какого-то, бронтозавра, сирены?
Мы с тобой не умрем никогда,
как кошка, грызущая голубого голубя вены.

¹ Дочь Ареса-Марса Алкиппу изнасиловал сын Полсейдона Галлирофий.

Твое имя Гармония, не Алкиппа.
На фотоснимке я уже ничего не могу поделать —
световая сетка нас сжала до могильного хрипа.
Забросайте меня землей ее белого тела.

Я легче бабочки. У меня крылья в перепонках и небо.
Я впечатан в богиню, и я немой.
Шевелю губами, как нерпа, шершаво и немо,
все звезды Вселенной кончаются моей головой.

АДАМ И ИМЕНА.
(ПОЭТ)

Адам стоит на набережной, зверей достает из груди —
льва да сокола, единорога, тапира, слона.
И от этого он зыблется впереди,
и как страшное лицо у него спина.

Собор достает из груди, змею, огонь и кровать,
на которой бубликом белым любовников сон,
и еще что-то хочет из себя достать,
но уже не может. Сквозь звон колокольный он

видит, как бежит по речке буксир, как чернеет мост.
Как выходит девочка из его ребра,
а оно горит, как полено, и весь он изба.
Он несет в двух ладонях, как черную лужу, свой мозг.

Он и есть имя им всем. Он и есть один и тот же фонарь,
который вставить в дверку в боку совы,
в боку орлана, собора: — свет-звук-янтарь —
и продвинуть вовнутрь гена, атома, головы.

Он теперь морская звезда, что однажды ушла в лучи,
да так и идет, забыв оглянуться вспять,
где растет пустота, как человек в ночи,
и умрут города, чтоб сильнее белым лицом сиять.

Он теперь только есть. Он ангела вещей стон,
он вода канав, Иисус-Иуда-Иван,
он лепит себя, как хлеб, пригоняя склон
краюхи к холму, и лижет свой лоб, Ливан.

Он оплеван, как урна, и, как дельфин, оплетен
поползшей колготкой брызг, он глиняный сам,
он уголь и голем и в белый огонь ответвлен,
и пуст, как дыра, где Бог и как прах — Авраам.

Чтобы ящера к жизни ощеренной подогнать,
а к зрачку ежа, и в крови чтоб — перо к перу,
чтобы дыбиться, шелестеть, топорщиться и клокотать,
расплавляясь в блесну, как вор-соловей поутру,

чтоб гору в бивнях и сучьях с гнилой водой
продвинуть в льняную богиню в спиртовом огне —
он плющится и стоит, как столб воды головой,
как водопад с мертвым солдатом в волне.

Звук серебра и Рая — верное имя рек,
где глиной горит звезда по краю Дантова лба,
у дегтярной розы где лепится человек,
ребром к себе прилегая, как ласт холма.

Где он плющится сплошь по себе-богу-стене,
заходя пятою в гортань, прошептать свой след
и вернуться словом грудным к деве грудной в себе,
чтоб улиткой влипать в белый череп, где ходит свет.

Виноград сияет, и Адам идет как земля,
с которой сняли костер, чтоб теплей копать,
и пучится сердце навстречу, как холм из огня,
и ангел в танке жует небес шоколад.

И червь проникает землю, и свет волну,
и мальчик идет землечерпалкой через погост,
чтоб спуститься к морю с костью родной во лбу
и завиться в ракушку и в грузного света горсть.

БОГИНЯ

Тополя в июле на Беговой шумят,
идет богиня с лошадиной головой — сына несет,
учит его пальцами воздух держать живой, остальной —
для остального мира небоскреб, силикон воздушный.

А в ней колеблется океан, как ночью в целлофане луна —
то в млечный ее сталактит обратит, то в струю,
то из стекла она, то из ампул, а то из сна.
Я ей голову васильковую отдал навсегда свою.

Пальцами, как волосами, хватает воздух моя голова,
чтоб в медузе воздушной нащупать сладость и власть
быть никем и цветком, и от красного зева льва
оттолкнуться скобой, и волной Одиссея стать.

И я точку бездействия в громаде волны ищу,
а она в животе ускользает, как кость алычи,
и в пятку Ахилла, как в лузу, спускается по лучу,
и в ней, до дыры сгустившись, втягивает лучи.

Она сгущена всем ужасом дней и зверей,
стоит их вовне и лишь из себя состоит —
глядит на волну, свою дочь, как из дальних дверей
Полифем одноглазый на Галатею глядит.

И бездействует глаз — лишь в таком основанье волне,
лишь такому звезду удержать и траву раскачать,
и рождает лишь в нем львица льва, как костер на холме,
Гавриил вносит весть, словно ветвь, чтобы Деве сказать.

Времена в этой точке — обратны. В ней улиткой чревата звезда,
в ней беременна ночь Евридикой и бомбой стекло,
она — камень замковый восставшего в небо костра
и цезура гексаметра, где от дыханья тепло.

Языком лошадиным мне богиня, мать говорит —
человек не фиалка, не Боинг, не кость, не слизь
и не твердая вещь, говорит, а он весь состоит
из пространств меж одним и другим, куда вложена мысль.

И волна как гора дышит, крепнет в растяжках пружин
и мячом мускулистым играет, как небом герой,
на боку ее танкер, как муха по фортке кружит,
в ней забыл себя ветер с наставшей, как ветер, горой.

Носорожье сердце зарыто в ней пополам,
и глотает его волна, а оно ее мнет, как холмы,
и толкает слюду по аорте и гул по горам,
и бежит, топоча, зверь по Африке, полный слюды.

Точка, косточка, мама, лен,
неразменный покой олив,
я стою носорог без имен —
океан, мотылек, залив.

В подоле ты меня унеси,
мою голову в царскую ночь,
мать-богиня, кобыла Руси
с головой, как любимая дочь.

А я в воздух пустот вопьюсь,
чтобы жить как река и бык,
соразмерюсь и разовьюсь,
как держащий бабочку клык.

И я буду пространство держать,
выпрямляясь, как луч и волна,
шкурой конской вдоль мира дрожать,
воскресать родником холма.

Чтобы волчьих небес простор
уходил, словно хрящ, в коня
и согрел бы сирот костер,
что шевелит, как тьму, меня.

ВИЗАНТИЙСКИЙ БЫК

Черепашья крепость, глинобитные купола!
Кто б не вышел из-за угла — он лишь черный бык.
Синь воздуха в тяжких львах, в ней крепнут колокола,
качнувшись, один чтоб в быка перелить язык.

А тот не в землю вошел, а в себя ее приподнял,
держит пахоты саркофаг на четырех ногах.
Катакомбный ломоть, алтарь, подземный канал,
чью землю забили по холку тебе и в пах.

Словно лифт грузовой меняет небо на грунт,
так в тебя слоями свалена внутрь лазурь.
Не Европа тебе любовь и любовный труд,
но язык в себе раскачать, как танкер — мазут.

Чтобы мертвая плоть от удара пошла огнем,
чтобы — ветром, покруче вихря ангельских крыл.
В материнской почве чтоб, заново сотворен,
воскресал Адам и новой землею был.

Чтоб, мыча, взрывали могилы холкой подзол и дрок,
подымая, как бицепс грушу — глаза и торс,
чтоб, как дождь бородатый, рот словом живым намок
и губы бороздой чтоб к небу, как синь, примерз.

ВОЛНЫ

Е. Р.

Волна за волной. Песок
сквозь воду — золото, ржа.
Набрать этих волн глоток,
все равно, что разжать ежа,

что тысячей игл пробьет
пришельца, как солнце дуршлаг,
примерится и возмет,
как силомер в кулак.

Жадная чайка кричит
среди желтой листвы.
Все из вас состоит,
из чего состоите вы?

Все состоит из вас —
свет и крик на ветру,
сам ветер, его галс,
раскачивающий ветлу;

амфитеатр и шлепок
грязи, журчащий клик
журавлиного клина, вбок
идущего от пустых

лодок на берегу;
судорога через край
ворочанья, как в снегу,
меж белых, как горностаи,

ног, которых не взять
ни Аресу, ни Сфинге, ни —
кому. Вы бежите вспять.
Единственные. Одни.

Иллюзия — этот бег.
Точнее — ножной насос
или тот самый снег
при колыханье волос —

два положенье одной
вещи — могилы: холм,
а только что — *яма* с тобой
или с другим. У волн

есть дар — не слова, а жест:
что движется, то стоит,
но, распадаясь в свет,
из которого состоит.

Из чего состоите вы?
Я думаю, из любви,
что стоит ниже волны,
как свет стоит на крови.

Потому что она — уже
то, чему не распасться, ведь —
не на что. Как душе,
когда *все* отняла смерть.

Ветер треплет штаны.
Волны, волной, волна,
волнами, у волны —
Зевс. И белее льна

та, в которую Илион
входил как лебязий ген,
а выходил как слон —
сугробом у римских стен.

Лоно, струится свет.
Яблоко гложет червь.
Череп растет, как ветвь.
Ты завершен — ничем.

ИОАНН И ЛЕСТНИЦА

Иоанн зверя-лествицу строит о тридцати крылах.
Одно — васильковое, шелковых два и шесть
из клыков саблезубого тигра; на двух стволах
остальные в небо идут и гремят, как жесьть.

Он подводит на Божий штурм артиллерию ночи, солдат
дальнобойной молитвы, смиренья огненный шар
и ракеты пустыни — терпенье, жажду и глад,
а подножье ее сторожит огнегубый овчар.

На одной ступени вата растет облаков,
на второй свил гнездо орел, на третьей — дракон.
Но штурмует он высоту и идет, солнцелов,
словно краб по камням, как стекло, небо взяв за наклон.

Саблезубая лествица-тварь кажет зубы врагам,
словно зверь доберман, щерясь на нечисть вокруг,
и до Бога кровь достает, как по ста этажам
в небоскребе напор поднимает воду, упруг.

В тишине ложатся, как снег, отвалы небес,
словно плуг воздушный в зерно высоту пропахал,
в черноземе и сини встает райский город-лес,
где кукушка-любовь и вера как кит-нарвал.

Он сидит на земле, как проволоки моток,
стоочитый ангел на звук его не найдет.
И идет сквозь него переменный и алый ток,
раскалив добела его плоть для иных высот.

Как же лестницы страшной жест бережлив, щадящ!
Как же смерть терпелива и красная боль щедра.
Снова лепит ремесленник-Бог и ребро, и плач,
чтоб лестница *внутри* тебя, как метро, сошла.

¹ Иоанн Лествичник (ум. между 650 и 680), византийский религиозный писатель. Был настоятелем монастыря на Синае. Его сочинение «Лествица, возводящая к небесам» — аскетико-дидактический трактат о ступенях на пути самоусовершенствования и о подстерегающих монаха духовных опасностях.

Чтобы тяжестью ты легчал и от боли пел,
воскресал от смерти, от вечности голодал,
чтобы был твой лоб, словно хлопок, и черно-бел,
чтоб зерно покоя расширилось, как обвал.

И поет кузнечик, и сена стоит стог,
и орел летит на любовь, а на свечку — шквал.
И тебе весь мир — как для орла Бог,
что вложен в крылья как бесконечный шар.

МАРТОВСКОЕ ПОСЛАНИЕ АХАШВЕРОША

Я ударяю в раковину, и я пляшу, и рыбы пляшут вместе со мной
 между «пежо» и «ламборгини»,
 между танкером в порту и официантом в кафе,
 меж бездной и бездной!

О Эгейя, пляшу и плачу, ибо есть край нераздельности,
и в нем я танцую.

О Эгейя в Китае, Сычуань в Фессалониках,
 Хоста в Гринвич Вилладж
 и пьяный от пира червь в молодой улыбке!

Тихо лодка с зажженным фонарем движется к берегу,
 снег покрывает горы, а внизу пламенеют буки и клены.
 Богиня озер провожает взглядом весло.

Бессмертные, говорите со мной!

Вы дети безмолвия, как и я.

Что наделали мы с жизнью нашей,
 с вашей жизнью, бессмертные, что наделали мы!

Эгейя и в озере лодка когда наступают?

Когда наступает реальность, виденье?

Не из птичьих ли лапок на песке произошли письма?

Реальность настает вослед за мыслью,
 как заказ за официантом,
 за мыслью — случайным, порой нелепым сгущением света,
 это и называете вы *мировой игрой, реальностью, жизнью*.

Но не только это...

Сначала мысль — искаженный свет, пустые хлопоты,
 дева, забывшая, что она ищет, ящерица без хвоста,

ветер на пустыре,

квитанция об оплате — вот что лежит в основе.

И вы видите мысль — не реальность. И вы мыслите боль,
 без которой себя бы не опознали,
 потому что вы с нею срослись.

И вы мыслите смерть в обличье яхты, женского

или мальчишеского тела, косметики, власти, Кремля либо

Тауэра, счета в банке, знакомства по Интернету,

ланчей, информации на ресепшн.

Без смерти своей вы тоже жить не хотите,

и вы не опознаете себя без смерти своей
 (на самом деле заемной, расхожей) —
 в зеркале будет пусто, во дворе лишь надпись I fuck you
 и газета «Метро».
 Вы видите вашу мысль, не реальность — но ваша ли это мысль?

Твоя реальность наступает вслед за мыслью, за словом,
 за числом, за мерой,
 за воспоминаньем.

Но реальность, *одна на всех*, предшествующая тому,
 что о ней успели сказать,
 она — не твоя, а — ты сам. *Ты и есть она*, ты и только ты,
 если она — одна реальность на всех,
 та, где мир, как душа, бессловесен,
 как речь богини, тих, как разомкнутые для звука
 губы — между тишью и словом. В шелесте
 тихой листвы, в треске костра,
 в плеске весла над озером.

Но как же знаки и числа, ты спросишь.
 Ахилл и Паньгу, Аштарта и Люцифер?
 Саваоф и Мать сияющей пустоты?
 Давид и сирень, и Вирсавия среди сирени?
 Но слова ли это?
 Приглядишься и пойми, слова ли это?
 Да, слова, но не просто знаки — слова, восходящие к жесту,
 к безмолвному восходящие, к струе родника,
 к исходу ее игры, направления, бесформенности,
 еще прежде, чем вы сможете омочить говорящие губы.
 Не жест ли любовь? Эрос, бог, поедающий сердце, атог,
 борис пастернак,
 смешной старик с чубчиком, умирающий со своей правдой,
 цыганской, интеллигентской, в больнице для товарищей
 и генералов;
 медведь на канате, дракон говорящий.

Подмороженная сучья бестолочь мира,
 простосердечье офисов, мудрость приемных,
 белозубая искренность файлов, TV —
 история, рассказанная идиотом,
 полная вдохновенья и громогласная,
 но напрочь лишенная смысла.

Что сделали мы с языком, о богиня!
Не сверяли ли первые слова вещи с *их родником*?
Не светили ли первые имена наружу *из* человека, как из фонаря,
преображая недосотворенных белку, лодку, весло, звезду,
соотнося их конечность с безмерностью,
откуда родом они, возвращая им — их самих? Снова и снова,
пока длится речь и дыхание.

Не для того ль нам слова? —
возвратить неистовый, робкий жест человека и вещи —
бесконечному неподвижному бытию. Соотнести в тишине.
Уравновесить, бережно произнося не звуки —
но имена родников.
Вернуть белку белке и Богу Бога.
Вернуть богиню и ветер — им самим.
Вернуть огонь огню. Чтобы снова родиться самим, чтобы стать,
становиться.

Бесконечно разрастаясь, становясь:
во время пути и в родах,
за книгой и на палубе яхты,
на пахоте и в игре,
в танце и паузе между волн.

Вместо этого мы говорим слова.
Ты говоришь леопард и больше ничего не видишь,
кроме тусклой картинки,
потому что не ты сказал слово, но за тебя сказали его.
Произнося слова, множишь мучительную, невыносимую,
желанную смерть
с кабаньим рылом, с блеском никеля или мягким удушьем
от взгляда Медузы —
чужую смерть, не твою, общую, как место в кинотеатре,
кабинка в кафельном туалете.

Кто говорит слова прежде нас? За миг
до того, как слово легло на язык, кто его произнес,
так, чтобы ты слова своего не увидел?
Кто уже почувствовал прежде нас, за миг до тебя,
чтобы ты чувства *своего* не понял?
Кто уже подумал за мгновенье до мысли твоей,
чтобы ты оставался *как все*?
И крест, состоящий из жизни, нам кажется смертью.

Поэтому я собираю слова, как фасции,
как охапку сучьев,
я прижимаю к себе корявые жесты,
танцую с рыбами,
целую в небе дракона!

Лодка возвращается с фонарем.
Тает снег на горах, и вновь пламенеют клены.
Время рожать, и время умирать,
время зажигать костер, и время тушить костер,
соотнося в тишине, человека — с иероглифом и крестом, —
простыми жестами мира,
уравновешивающими жест Бытия и жест странника.
Тишину и акулу.
Безмолвие и тропинку в сосновых иголках.
Каплю и океан.
Дракон умирает в Боинге,
рождается в дыхании, в раковине.
Настаньте, настаньте! АЗЫБЫАХ! ЭВОЭ!
Да будет тебе по слову твоему.

МЕЛЮЗИНА¹

Ягеллоны и Лузиньяны — терракотовые твои правнуки.
Шла по поляне, принца Раймонда встретила,
дарила ему коралл да с ножки Венеры — раковину,
да алое перо чудной птицы нетопыря-тетерева.

Земля землю любила, земля землю ела,
пока раздевал тебя догола, до кости,
будто зеркало отдирает с неродного своего тела,
забирал парчу в золотые, как ночь, горсти.

Разрежь сыр — там следы тех, кто уже свободен,
и младенцы ушли из белой стены замка.
Вы катались с ним на снегу — пара белых ободьев —
и в собольем сугробе уснули к утру жарко.

Ах, змеиный укус-поцелуй неродной девочки Лиды!
На Дмитровке особняк — красный плюш, ковер, по ковру
ниже ягодиц косы,
и сдвигает дыханье наркома плечи, как плиты, —
герцог Беррийский с Лидой стоят на снегу, босы,

во дворе, а снег идет с неба, такая причуда,
сыплется буковками, да кровью, голые метит
плечи и пах, где свила гнездо пичуга,
куда входят старцы, выходят опять дети.

В живой воде омывает дракон мертвые губы,
в Студенице краль Стефан сирену привел на икону,
Богородица плачет, и снег покрывает клумбу,
белый обод катится к черной речке по склону.

¹ Мелюзина — фея из кельтских и средневековых легенд, дух свежей воды в святых источниках и реках. Часто изображалась как женщина-змея или женщина-рыба от талии и ниже (ср. русалка), иногда с крыльями, двумя хвостами. Выходит замуж за смертного, поставив ему условием, чтобы он никогда не видел её в зверином облике. Когда он застаёт её в таком виде, бросает его. Считается родоначальницей дома Лузиньянов, изображена в виде дракона над башней замка в Великолепном Часослове герцога Беррийского

Ах, змеиный след по постели да через империю!
Как тебя целовал, и фаллос твердел, как пуля,
и включились фары авто, и под снегом плыл мальчик Берия,
заплетен, как в шелка, московской Ехидной-Орой.

У дракона косы до пят и замки белей, чем сахар,
купола горят у дракона сильней, чем пламя,
что на вдохе в ноздри уходит порошком белым,
и треснет без шва колготка — вот сучье племя!

Белый обод катится к черной речке по склону,
герцог Беррийский провожает его взглядом.
Кто из втулки его ушел и стал, словно свет, свободен?
будто Смерть, белой косой махнув, промахнулась?

Девочка Лида, доченька, мелюзина,
погляди, вот катится белый, словно ночь, обруч.
И в нем небо стоит, и дочь родила сына.
И земля лежит. И светом шевелится полночь.

ЧЕНСТОХОВСКАЯ ДЕВА

Вадиму Месяцу

Настает только то, что уже настало внутри.
Пан Владислав ртуть сердца достал из ребер, в ладони держит,
серебряное озерцо держит, жидкое, расплывчатое,
течет оно сквозь пальцы, течет.

Только то, что уже настало внутри, то вовне и есть.
Я лик твой люблю как изнанку собственных век.
Я сведу к ним коров из здешних лиловых мест,
чтоб лизали их языком, как соленый снег.

Панна моя сидела перед Святым Лукой
за тысячу триста лет прежде, чем родилась,
держа младенца-Христа белой своей рукой,
а тропинка от Иудеи, как косы ее вилась.

Татарва осаждает замок, и бьет стрела
в твой пречистый лик, и течет вдоль по шее кровь.
Я, как стая собак, когтист и, как клюв орла,
напряжен, и луч света летит сквозь раскрытую настесь бровь.

Когда в оловянное зеркало падал тебя,
уточняя нас до белых детей на горе,
под горой пела татарская тетива,
но нас уже не было ни в одном дворе,

кроме того, где тело мое, как ртуть,
слилось с телом твоим в ладонях, что держат Христа,
и я ко рту прижимался, туп,
как к сохе прижимается борозда.

Я толкался в тебя, но лоб завивался в нимб,
как в фуганке в стружку обессилевшая доска,
и я втек и вытек в тебя, как бескрайний Нил,
и все, что от нас осталось — пляж золотого песка.

А теперь снег летит, моя панночка, снег да стрела,
долетают и входят посреди золотых кудрей.
Колокольчик звенит серебристый, сжигая дотла
тебя и меня головешками снегирей.

Кровь — это кров и край. Это край людей,
и брызгает, когда переходишь его, она,
в родах, в соитье и от крестных сквозь кость гвоздей —
теперь уже на весь мир, словно земля, одна.

Серебряное сердечко мое висит на Ясной Горе¹,
где тысяча костылей, чтоб с колен поднялась земля
и сожгла свою боль на синем, как снег, костре,
как сжигает пейзаж, покуда летит, блесна.

¹ Икона Ченстоховской Божией Матери, выполненная по преданию Евангелистом Лукой, была перенесена в Ченстохово, на Ясную Гору, князем Владиславом Опольским после того, как чудесным образом остановила нашествие татар, во время которого одна из стрел попала ей в шею, от чего на доске выступила кровь. Легенда говорит, что возлюбленная князя была очень похожа на пречистый лик. На стенах церкви, где висит икона, вывешены костыли и серебряные сердечки — знаки чудесных исцелений по молитве Ченстоховской Богородицы, Королевы Польши.

ПАЛАМА У ТУРОК

Гора заглатывает себя, давится кадыком,
парус к мачте высокой, как мертвый язык, прибит.
И сдвигает ущелья и раздвигает теплом
Эгейя, и панцирем шевелит.

Дельфины играют, перегоняя богов,
роют ходы в слюде, в мировой слюне
и светятся так, как боги среди холмов,
когда свет возвращают собой к самому себе.

Григорий, тяжек, лежит в ракушке пустой,
как дева-Венера лежит, доподлин, пуст,
из уст его куст растет, как земля, густой,
и пульс впивается в вену, как зверь мангуст.

Архиепископ вчера, а сегодня раб,
он бивни отращивает взамен,
чтоб насадить на них истинный Божий храм
и поднять туда, где больше нет перемен.

До луча нетварных энергий, до злого кита,
что есть сгусток света, сиянья виток и хлябь,
до земляного архангела, легкого, как вода,
сделанная из света, что настает вplавь.

До русалки, пористой, как медуза луча,
до Эхила, зеленого, как волна.
До раковины, светящейся сильнее плеча,
и до плеча, светящегося белее льна.

Отчего же ему он так неказист,
так мозолист, шершав этот бивень-свет,
отчего он корявым веслом гребет
и в глазах лиловой слизью стоит?

Ах ты, братец-свет, носорог из стекла,
Варлаам пустослов, хрустовидный ерш,
что ж во мне ты, брат, раскален до бела
и глаза голубые и ешь, и пьешь?

Все дельфину б нырять — а тебе б взлететь,
ему комкать плавник — а тебе разжать,
все бы сниться ему — а тебе б назреть,
все б ему умирать — а тебе б настать.

Чтобы тела луч его наступил
лепестком голубым, лептой ле-поты,
чтоб, как свет свечу, себя преступил,
напоследок стать чтоб таким — как ты.

Чтоб друг в друге нырять, солонеть могли,
различая промер посреди, прогон,
чтоб расти и растаять, как соль земли
держит света охапкой с детьми вагон.

Потому ты хрущ, потому, могущ,
вяжешь руки мои, сокрушаешь хрящ,
чтобы лег я, клещ, словно миру луч,
ради Бога жив, ниоткуда зряч.

Проворот весла вкруг оси пустой.
Ангел землю ест, как змея, взведен.
И барашек бел за крутой кормой,
от луча и девы вдвойне рожден.

ПАМЯТЬ СВЯТОЙ ХРИСТИНЫ

Девочка Христина по дну идет, камень на шее несет,
а вокруг детвора — мальки, форель да дельфины,
а дальше холмы видны да ручьи, да стены,
долина незнакомая да колдовская, русская.

Христина идет по дну, а за ней идет Михаэль
архангел, как белый мальчик, зеленухи плещут, макрель.
Михаэль идет и будто в гармошку играет,
звуки летят от нее — то ли «Дунайские волны», то ли «Аве Мария».

А еще паровоз стоит, на платформе народ,
какая-то женщина плачет, а рядом военный.
А вот еще подвал, и кто-то стреляет,
а вот и дельфин в солнце играет, смеется.

Говорит Христина, не хочу уходить отсюда, Михаил-архангел,
хочу той женщиной быть, вместо нее плакать,
хочу тем мужчиной быть, что в подвале убили,
играй, играй в свою гармошку, Михаил-архангел.

Михаил Архангел, серебряный мальчик,
отвязывает ей камень, берет за руку,
пойдем, говорит, наверх к отцу твоему убийце,
а то, что видела здесь, забудь, если сможешь.

И сумасшедшего петуха на крашенном до зари заборе,
и наган, из которого в затылок летит пламя,
и чудную страну Россию в вещих оврагах
забудь до поры. Не могу, говорит Христина.

Как же забыть мне дельфина с мячом в солнце?
Как перрон забыть, где женщина плачет?
Камбалу как забыть с колокольней на спине плоской
и овраг с волками, рвущими человека?

Хорошо, говорит Михаил-архангел, девочка Христина,
посмотри, какой плывет осьминог-наутилус —
морда вся его из ракушек, букв да сатина,
а вместо щупальцев влюбленные обнимаются.

Говорит Христина, поиграй мне еще на гармошке,
потому что воля моя — стоять у того паровоза,
потому что лежать мне, как на пуху, в том подвале,
целовать Христов простреленный бритый затылок.

Играет гармошка, рыбы плывут морские,
пучат глаза, а дельфин все кружит, играет.
Вынырнет — целый мир на носу держит,
нырнет — и будто мира опять не стало.

ПУСТЫННИК

По колено он ноги врыл в мертвый песок,
его рот забит пустыней, змеей, землей,
и он кряжист, как ангел, и, как мертвая мать, иссох,
у него больше нет ничего, чтоб говорить с тобой,

кроме тварей небесных, ехидн, вурдалаков, акул,
заходящих сверху, чтоб кость, как стекло, глотать.
Он врыт в свой песок, словно в небо, как бивень, сутул,
и он, стоя, ложится в себя, как в шипах кровать.

Ему мертвое небо несет чашку мертвой воды,
и хромая девка — выкидыш от него,
его роют драконьи зубы, как перегной кроты,
и, кроме себя, нет у него ничего.

Кроме короба пустоты, куда никто не входил,
откуда он сам, как росток, кверху ногами растет,
и о нем говорить не хватит у Бога сил,
и серафим под ним, словно кляча, ничком падет.

Но про него он не знает. И торчит мускулистый ствол,
и приходят его сгубить чада всей земли,
и он руки раскрыл им небом, гол как сокол,
чтобы плыли в него дети смерти, ее корабли.

И расплавленный рот его, иди! говорит,
и в него впеклись и стеклянных бабочек чернь,
и язык Люцифера, и плавится Рима гранит,
на сутулых плечах застывая, как мертвый червь.

Иди, говорит он Аду, и тот идет.
И, в пустыню зарыт, словно циклона глаз,
он сжимает себя до кости и черное солнце пьет.
Это я, говорит он, Боже, здесь двое нас.

И тебя тут нет, как меня тут нет — пустота.
Я сжимаю ничто себя как подкову в хруст,
и себе я никто, и могила моя пуста,
и я сам себе — и земля, и могильный груз.

И кривится небо в ответ, как железо в руке,
проступая улыбкой, творящей заново свет,
черный ангел идет к синей, как ночь, реке,
и рождается мир, словно еж, лучами раздет.

Дерево каменное растет — сухи сучья рук,
и глаза черны до самой земли, до корней.
Человек рождается. Ягненок бежит на звук.
И небо, как мать, стоит посреди дверей.

РЫБЫ

То звезды, то, словно кипящий котел, существо,
а рядом второе — кипящий, как звезды, котел,
черпая боками, Эрот с Афродитой его, —
волна или свет, или танкер и в танке орел?

Снаряды двух рыб в перочинной ночной вышине!
Один — словно сердце в обрубках, чтоб ночи вживить,
вторая — его отдала и лежит в тишине,
и ширит ночной чернозем, чтобы кровь шевелить.

Кочан световой и капустаный, ты небу словак,
китом мобидиком к тщедушной психее всходить,
и, борт исчерпав, как ведро, зачерпнуть в двух словах
свет лимфы и мозга, чтоб деве по телу вложить.

Кто кого расстрелял? Кто кому велел не живи?
Вот любовь покатила, кочан световой, голова,
вот и бомбардировщик, как радуга, встал на крови,
ночные две рыбы всплывают в чужие слова.

У сынка черной крови по горло, как нефти по край,
вот и небо качнулось, да наискось так и стоит.
В белых птицах кричит вазелиновый синий Рай,
расширяясь по сердцу, как будто всплывает кит.

То звезды, а то существо, то нефть, то жерло.
То жива ты, а то — только он плавником и жив.
И дымится звезда, как пережгли сверло,
и слетает к воде. И толкает буксир залив.

Человечья пластина, людской пластелин для лба,
что закатан, как кулья внахлест в черный шелк рукава,
в лоб тупой кашалота, и плывет световая халва,
и сгущаются в плоть, словно в бицепс матроса, слова.

Лишь бы небом играть, черным боком его крентить,
плавником прорывать поля этих бычьих мест,
чтобы небо всосало, что думала глина хранить,
подымая сквозь землю — череп живой и перст.

Чтобы было их много, двужильных, безумных, босых.
Чтобы все собрались. Чтоб, как верный портняжка свой плод,
небо сжало и рыб, и матросов, и всех остальных,
выжимая лишь свет из высот, только свет из высот.

ОБРЕТЕНИЕ КРЕСТА СВ. ЕЛЕНОЙ

В окне Елена видит землекопов
и вход в пещеру. Солнца белый шар,
отслаивается, как тесто, словно
репейник, чье разбито отраженье
веслом. И *Nobilissima femina*
глядит на них не с золотой монеты,
а из окна. Здесь позже будет храм,
квадратный, рукотворный — в честь того,
что государыня пока не видит,
отслаиваясь от себя, как солнце
иль ветерок с кружащейся монеты.

Здесь на Голгофе — две пещеры, будто
два черных рукава иль два чулка,
набитых черною дырой и прочей силой
из остальных, без вещества, галактик.
Одна — ведет вовнутрь к пустому гробу,
чернея, тянется вторая к небу,
хотя, в отличие от первой, не заметна.
И обе, будто два дракона, держат
в зубастой пасти солнце и луну,
и ничего не держат, что одно
и то же.

Весь невидимый ей мир
они прорыли, словно две траншеи,
в которых трудятся теперь не землекопы,
а Серафимы, мучаясь усилием
их переборки удержать и сшить,
как экипаж латает субмарину
на глубине, где рыбы не живут.
Дремучие пещеры ходят с хрустом,
чудовищны, как древовидный смерч,
когда он втягивает чаек, пыль,
крушит буксиры, лайнеры, причал.
Но в мире снов реальность не видна.
Рабочие зовут. Императрица
спускается в раскоп и видит Крест.
Еще там были гвозди, все четыре.

Нашли то, что хотели. И один
пошел на упряжь Константину, а
часть большую креста вложили внутрь
его же статуи... — наверно так петух
снесенной головой и видит вечность,
как статуя тот брус, перед дворцом,
на площади, венчая столп колонны.

И Елена

благоговейно торжествует. И,
спекаясь в золото и смальту,
москиты вплавлены в уста Августы,
шесть рук ее октябрьский воздух ловят,
и два тюленя тщатся лечь в глазницы.
Но силой мысли выпрямляет лоб
Елена, как подкову до небес,
и волосы ее из льна и перца
хватаются за звезды.

Тот, кто здесь

убит был, а потом и похоронен,
ушел давно. Адама черный череп
один бренчит вослед повозке, тень
его уходит к бедному Орфею,
что вверх ведет все бабочку свою...

Не две пещеры — вся земля прорыта
ветвями древа жизни, словно сыр
или кротовьи перекрестья.

И Елена,

поняв, что на краю могилы
обманута пространством, отступает
от подоконника и смотрит — внутрь себя.
И там, за красным мамонтом и синей
акулой, и медузой рыхлой храма —
скорей сновидческими образами, чем
пророческими — видит на мгновенье,
в котором и январь есть, и февраль,
и март с апрелем, в знаках и календах, —
Христа как будто бы себя, но только
расширенного, словно черепаха,
и состоящего из миллиардов жизней —

блаженных маленьких императриц Елен —
в одной руке сияющая кукла,
в другой Луна и Солнце, и родник.
И все это блаженное ничто —
как в детстве яблоко или чирикнет птица,
здесь исчезает тихо, словно дым.
на фоне жизни, что изречь нельзя,
которая и есть она — Елена.
Такое старики взамен могилы
порой увидят... вход в иную жизнь,
без края, без начала, без конца,
и тщатся занести стопу. Но дальше...
Но дальше — долг и отпрыск-басилевс,
и ванны вечером, и собрано в кулак
для дел важнейших старческое тело.
А дальше — Византия, словно утка
из золота взлетает против ветра,
огромная, как курица, нагая,
взлетает против ветра над мостками,
и над мостками, тяжкая, стоит
и машет мелко крыльями на месте, —
огромная империя на месте
все машет мелко крыльями, все машет.

СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ ПИШЕТ 58-Й ГИМН

Симеон идет вдоль берега и видит в розовом деву,
и еще осла, и, как мальчик катает обруч,
и зеленые волны залива, и белое тело
чайки, заходящей на робкий косяк из облак.

И, как мелью лепя темный мускул, волна выступает,
завернувшись в возврат и сминая свой центр, как платок,
и, как сплнет от формы, будто слепень на лбу набухает,
разжимаясь от соли, едва ее кровью намок.

Как себя удержать тщится черной рукой черепаха —
земляничней земли ее старческий взгляд, чтоб собрать
невидимками-пальцами кроху себя, ложку праха,
и пластинку к пластинке, как череп Зевеса, пригнуть.

А еще паруса, но неважно... И мол, и заливы.
Но важней черепаха — встреча двух картофельных солнц,
как две сферы вошли друг во дружку и панцирь открыли,
черепаший и общий, замкнувший в себе их, как болт.

Этой лапой изрытой, плавником океан отодвинуть
и с ракушкой во рту до губы Клеопатры пятой
дотянуться, примять и, как землю святую, раздвинуть,
и вмешаться в могилу, как в веко с лиловой длиной.

И быть солнцем своим и ее, прилепляя подробно
за пластинкой пластинку, и ластом поклясться лучу,
и сиять издали и вблизи костью белой и лобной,
завернувшись в бедро и его возвращая ручью.

Симеон вспоминает Александрию, еще другие города,
как, сияя, вошел он и внес сиянье в бордель,
и там и оставил, как плащ, как змеиную кожу,
как лег в траншею себя и стал забрасываться землей,
чтоб умереть от печали.

Но Христос его спас. И теперь Он сияет везде.
Вот нога его ходит, а в ней — весь Христос во плоти.
Вот язык его говорит о светящейся борозде,
а и в нем — весь Христос, и весь — в черепашьем пути.

И весь Он — в руке, как фиалка внутри ее, весь —
в детородном органе — о, ужасная красота! —
и Он в каждой волне, и Собою играет со всем,
что творил из Себя, — кашалотов, тюльпаны, крота.

И играет Собою по боку, как луч, волны,
и собой — как на родину кликает клин журавлей,
и собой, когда ангелы строят из духа холмы,
чтобы ось мировая сквозь череп тянулась прямой.

Он — надмирный, из Слова Его все предвечно взошло.
И, как в лодку, садится в свой череп святой Симеон,
и гребет против волн, удлиняя весло, как крыло,
и зубами сжимая смарагд, словно горний Сион.

УСТРИЦА

Не бог мускулистый — мидии слабый язык
держит диски небес, вращает куски синевы.
Растворяет, творя, и творит, растворяя, лик
Саваофа и Зевса, неподвижен, как спящие львы.

И его шевельнуть — не взошла на свете рука,
и царице Елене не вынуть наружу грунт,
и сирень, как собака, не схватит его за рукав,
только чуют утробой колокол и колун.

Мир растет вокруг слабых вещей — родника, Креста,
манны, падающей на толпу,
мировой оси, белизны листа,
как убитый растет: — в воскресенье, начиная с дыры во лбу.

Ангелу мщенья язык в ракушке не взять,
лишь Квазимодо, расслышит, плюгав, речист,
покажет в ответ клыки, как похабный тать,
да заест землей щеголий из глотки свист.

А когда придут миру ночь и огненный суд,
шевельнутся створки костяного в наростах рта,
и сквозь вопли и пламя — небу, раскрывшему грудь,
чтобы всех запахнуть, он шепнет, улыбаясь: да.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Он вошел как волна, и лохматился пеной горб
нависающих крыльев, как в бицепсах, в пузырях
отсутствия плоти, словно молчащий рот
с ампулой пустоты, настоянной в пустырях.

Он вошел, разлохмаченный светом капустный лист,
в перьях, которые каждое — тоже он сам,
с жестом мощной руки, но только с тысячей лиц,
как в бутылке разбитой хвост распахнул фазан.

Он вошел и поднял на склон и дом, и быка,
и горницу с книгой, где ты сидела, одна,
как собой поднимает баржу и крейсер, тиха,
пришедшая к ним издалека волна.

И вещи ее пропустили — вернулись в себя,
но ты удержалась, как серфер на белой доске,
и лунноликий помчал свой холм серебра,
и лунные львы катались на черной руке.

Вернее, никто не ушел. На месте стояла волна.
А рядом бежали, как сцены открытых платформ —
империи, путчи, чума, мировая война,
слоны и руины, одетые в хлороформ.

Рыли землю, как бомбы, кроты, Данте волос глотал,
мальчик Гитлер девочке Гретхен сирень дарил,
и в овраге стреляли в затылки, и камнем мерцал
Летний сад, словно след от заброшенных в скорость крыл.

Ты дрожала, как поезд, скользя по слепой крутизне.
Свет народам родишь, — он тебе волной говорит, —
взрастишь и оплачешь раздашь. В без краев колесе
твое слово в тиши, словно втулка земли стоит.

Ты и есть эта втулка. И она его поняла.
Хоть спросила про мужа, но знала уже ответ.
И стояло в ней время столбом, шевелясь, как зола —
как в очаг залетел не сквозняк, а возвратный свет.

А потом он ушел и увел своих лунных львов,
и платформы вернулись, и книжка раскрылась опять,
и светила Луна, как тысяча белых лбов,
пока ты опускалась — себя собою принять.

И Дева росла этой ночью прочь от себя,
раскинув руки в драконах и куполах,
рушащейся горою из белого серебра
подымаясь и падая в бивнях, листве, слонах.

Но чем больше она уходила, тем глубже она
собиралась внутри себя — в зеницу слепой земли,
до тех пор, пока не сгустилась ее глубина
в свечки огонь, что внутрь Вселенной внесли.

БОКСЕР

С его тела сматываются удары, как бинт с головы,
красное пятно все шире и достигает врага,
и тот глотает кровь, словно яблоки лвы,
а он как яблоня в яблоках-кулаках.

Вот он плывет спиной-черепахой, встав на дыбы,
черные крылья прокуренный воздух метут,
в перепонках идет по удары, как по грибы,
их находит в бицепсах, нижет на жгучий жгут.

И рука, как гантель, но шар катается — вдоль,
а лвы ходят вокруг, смотрят, за что цеплять
когтем — в нем сразу лебедь, баран и моль,
бодливы, царственны и в пригоршню не поймать.

Раскручивается из себя, как жесткий толя рулон,
громыхнув, будто черное небо молнией с кулаком...
А потом его в джунгли уносит алмазный слон,
но он снова встает, возвращаясь в себя плевком.

Его держит, как мама за помочи, зала рев,
и в перчатке спит еж, а в брови разрезан червяк,
и лопата копает дальше среди бугров,
чтоб из ямы он вышел как Лазарь в световых сквозняках.

Потом он трепещет на ринге, как белый на суше кит,
нащупывая себя, но не там, где он есть, а вокруг,
не поняв, что закатан в бумажный шар, что убит,
и бумагой шуршащей хочет вырасти вновь до рук.

На саксофон был последний похож апперкот —
гнутой, снизу сыграл — и как борт, отплыла, стена.
И теперь он снова всю жизнь вернет и вберет,
чтоб вложились в носилки — в ударах его ширина.

Он вберет в себя аккуратно, как крылья жук,
ветви хуков, дельфинов любви с женой,
перекрестья дорог, все парки, дожди, подруг,
все перроны, аэропорты, весь ветер, весь холод, зной.

И он поплывет по воздуху, страшно тяжел,
как свора чугунных ангелов в фонарях,
разрезая свой синий воздух тупым ножом,
зажимая ребрами мокрый, как слезы, прах.

И он встанет в небе черной чугунной дырой
меж Персеем и переменной, как ртуть, Луной.
Он вложился, как в лузу, в удар, и он шевелит листвою,
и вываливается соловей, и уходит в дыру живой.

И ходит там мелким шагом и воздух немой ест,
и пламя из губ его — как спиртовая дева любви,
и скелет в человеческий растет, словно город Брест,
чтоб сомкнуться с собой, словно Рим или ринг в крови.

ГАВРИИЛ

Архангел Гавриил, в руке твоей фонарь,
но раньше, чем в него вбегают жар и свет,
как мальчики на праздничном ристанье, —
фонарь уже горит и черными лучами
шевелится, и свет летит, чтоб ими стать,
и входит внутрь, сверкнув,, как нож,
завороженный
той черной раной, что, маня его, раскрылась.
Но по свершенью время поменяло
фонарь на свет — на следствие причину.
Подмена незаметна, потому,
что сами мы теперь — подмена.
Как втягивают нас в себя деревья,
чтоб становиться нами!

В руке твоей фонарь — в нем какаду из вазелина,
шумит, топорщится, гнусавит, произносит
за словом слово.
Они в ночи рогатые, словно рука
на пальцах растянула пленку
колготок, став трехпалым ластом или рогом
оленя, что лимонный
поддерживает шар
с тобой же, Гавриил, внутри, с тобой, с твоими —
поддерживает небо на ладони,
к нему навстречу вывернутой им.
Не какаду — воздушный мускул мира —
бесформенный, живой, неуловимый.
Пока он есть, крошатся в землю губы,
сгущаясь в речь, дыхание идет,
и слово возникает в их проеме,
шипя, как жабра. Величины мира
наоборотны, речь, себе самим, —
ложатся внутрь знакомого, как зев
пустой улитки — внутрь того, что будет.
И входит жизнь, как слизистый язык,
и длится виноград и след по стенке.

Поэтому твоя величина, Мария,
была огромным ходом за Луну,
была обратной миру — полым рогом,
пробившим ткань миров, как бивень лед.
Она была почти что непристойна.
Приличней было б голой девкой в мускулистый
полет камней войти.
Приличней мастурбировать на людях,
убить ребенка, обнажить отца.
Что знаем мы о целомудрии?

Вот мальчик вазелиновый в кафтане красном,
он голову сосет убитой утки
и вынимает гвоздь из глаза.
Да-да. Я снова отвожу тебя от знанья.
Сестра, его не выговорить, пусть
вместо него тут пляшет мальчик с уткой.
Я старомодно, медленно и скучно
веду тебя к тебе. Ну, разве ты не мальчик?
Скажи сестра!
Она была б похабно непристойна,
Благая Весть, когда бы мир додумал
ее до доньшка. Была б как речь на вдохе.
Иль сами мы похабны и бесстыжи?
Тогда кому играть в тот мяч из света?

Он к ней вошел, как рак, держа в клешне
зерцало, а в другой — фонарь с тем черным светом,
в котором, прежде чем она сказала — да,
исчезли мы, а то, что здесь осталось —
позорище.

Она сказала да.

И сыплется земля и шевелится рот,
уста окутывает пламя как дрова,
сырые, с внутренними кольцами, в сучках,
они трещат, преображаясь в свет,
как свет преобразился в древесину.
И праздник, что в обличье смерти или волка
стоит всегда за спинами живых,
готов взорваться смехом и взлететь
замоскворецкой жаркой чайкой в небо.

Архангел Гавриил, он роет Деву
как светоносную могилу, к ней
не прикасаясь, создан, сцеплен, скручен
в себя — ее струящейся наружу пряжей
задолго до рожденья. Бог — двупал.

ИОСИФ МУНЬОС,
ХРАНИТЕЛЬ ИКОНЫ ИВЕРСКОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ¹

Иосиф Муньос по небу, слепой, летит,
сколько лет в себя синеву сжимал и, вот ведь, разжал,
и оно окружает его огнем и с ним говорит
про то, как вчера он сам его окружал.

А рядом биплан плывет и Иверская Божья мать:
— Война ведь, отче, это как флейта или кларнет,
в которые небо вложить — надо себя разжать
для бомбы, раны, смерти или ракет.

Божья Матерь, не плачь, ему говорит, —
не до смерти убили, раз я, сынок, с тобой,
ты втяни внутрь себя пожар, что внизу горит
над Белградом-городом — будешь опять живой.

— Вижу зелену гору, Муньос ей говорит,
заступница Иверская, вижу, пушки на ней стоят,
официантка Мара кэмелом все дымит,
а из пушек на нас глаза голубые глядят.

— На зеленом холме, в высоте, убивает христианин
христиан, а они — мусульман, — она говорит, —
и на целую каплю стал больше боли стакан,
в глаза голубые людей за край перелит.

Так они и летят, говорят, рядом кружит биплан
да бабочек стайка с опаленным морозом крылом,
и Дунай от пожара блестит, как разбитый стакан,
а цветок, что в нем был, унесен на небо орлом.

— Мати, куда мы летим? — Иосиф Муньос спросил,
а она говорит — нет ответа на твой вопрос,
если б и кит свои мышцы в одну сложил,
он туда бы, сынок, тебя ни за что б не донес.

¹ Иосиф Муньос был хранителем списка иконы Иверской Божией Матери в Монреале в течение 17 лет. Все эти годы икона мироточила. Был убит. Икона исчезла сразу после его смерти.

Монреаль там с Белградом, Аллах с зеленой трубой,
и баян играет, и танцы, и цербера лай,
и Христос, мое дитяtko с простреленной головой,
поет — Голубой Дунай, голубой, голубой Дунай.

АНХИС

Шла бы она подальше, стерва, сучий потрох,
со всеми ее перламутровыми пуговицами,
следующая Краснопресненская, пялится бельмами крашеными,
тварь, ладно, при чем тут волки?
синее-синее — что? Синее что? Оно было синее, не пойму.

На синих шкурах они лежали, волчьих, львиных, оленьих.
Царевич во тьме становился длинней, чем она,
вырастал из пещеры,
и снова входил в нее и себя, как раскачиваются качели, колени,

а она предлагала ему себя, как веслам зеленым нимф
предлагают шхеры.
Словно двое там было в пещере дев длинноногих,
розовопалых — Афродита и ее отраженье,
к которому словно стекло все мешало припасть и прикинуть —
земное зеркало Геры.

Но она-то, вторая, манила больше первой, божественной тоже,
и он еще никогда
не видал такого — словно не тело, а флюгер, или ночью
из дома портьеры
распахиваешь — а там снег, а тебе — всего пять, и синица кричит,
и снег белее холста —

словно мама она в тумане, словно не клип порнофильма,
а белка и бабочки, и в каплях сосна от дождя,
электричка кричит далеко, и пар изо рта,
словно розовое, она, как кукла, облако моей единственной
мятной смерти, из карабина

вынувшей мертвый цветок — розовая, как яблочный джем, нагота,
которую видим лишь я да пчелы, их много, и они кружат,
как дробины
в магнитной ловушке, но они к ней доходят — туда,
за зеркало и тогда

(Во многих я тут перелил свою раскаленную жидкость,
подобно Улиссу
на острове Кирки — здесь выебано все, и дубы трещат
от магнитной тяги любви-афродиты,
все выебано, перетянуто, удовлетворено, трахнуто, унавожено,
поднято кремастером вверх, как земля поднимает крота),

и тогда пчелы видят то, что не взять мне пока я в теле и шкуре,
пока с двойником играю всю ночь в кобеля и сучку,
красное платье ее смято рядом, как материк из снов моих
коралловых братьев дельфинов, куда
Фригия как-то ушла, оглянувшись на нас с укоризной —
на нашу бессмертную случку,

и шкуры под нами сжимают когти, словно хватают все то,
что мне не схватить, и, ты знаешь,
знаешь, царевна, я бы тоже стал шкурой и когтем,
если бы смог к той, *второй* прикоснуться. Вот так порой
засыпаешь,

и кажется, что *все сразу* сбылось. Все, о чем думал, чего хотел —
и это не конь карусели, не сабля, не Франклин с купюры,
не Сенеж
осенью в кленах и плеске, а то, что под обликом тел

спрятано, чтоб однажды войти и тебя увести с собой, короче,
блин, заговорился, —
и я вижу, как на скорости 200 въезжаю в какой-то долбаный
катафалк,
а оттуда на меня тарашится бородатый мужик с пластырем
на скуле, который мне как-то снился

При чем здесь волчицы, шкуры... золотое фригийское солнце
меня ослепило.
13 переломов, самое паршивое, что позвоночник, короче, ля,
на всю жизнь — каталка.
Я куплю себе кукол и буду ездить с ними двумя на коленях
нагими,

чтобы молния шла в мое бритое темя и работала как раздевалка.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ В ВЕНЕЦИИ

Привокзального канала шевелится живая слюда,
и ерш растет слюдяной, как репей в стекле.
Лета наша с тобой, как волна без пальцев, люта,
и мосты в ней запутались, будто бы рак в чулке.

Не аккордеон, Гавриил — это моль и ерш,
смешаны, будто аквариум с упавшим в него гребешком.
Или, как если бы вмерз не ты волосами, а нож —
так блуждает в нем моль, когда он к Луне под углом.

Она его ест, как крест забирает собор в себя,
а он ее плющит в вазелиновый в спицах зонт.
Моль — пустоболка-дракула, красна ее пасть-зима,
а для ладони мучительна, как для трахеи зонд.

Своей острой пригоршней он ловит ее вовнутрь —
лишь ногти блеснут от медленного броска,
а когда сравнивается неравный их перламутр,
то они — это то, чем струится под мост река

на закате, когда входит сила в гнутый костяк,
как пришелец-гость — замолвленный Гавриил,
и ты с ней, ревущей, стоишь у себя в гостях.
Моль — остаток ерша, когда он лишнее сбрил. —

Центр мира, если его разломать янтарь,
нимфа сучьих ручьев, пыльный трансцензус, итог,
в голубой помаде деваха, давалка, тварь,
Левиафан и за ним струющийся крутой кипятик.

Ерш — зачаточный взрыв или две пары рук
и ног с креста, сжатые до одной,
ухватившей гвозди в себя, чтоб больше мук
на живой сантиметр с протиснувшейся головой.

Он стоит весь в крылах, Габриэль, в сталагмитах их,
твой близнец, сестра, — вор-домушник в луне и тать,
он стоит, как ты — из лунного вся костра,
на котором ему свою голову грызть глотать.

Иоанн Креститель в крылах, с головой в груди.
Когда шел по улицам — кто-то все время шел
мне в затылок белым лицом, и там, впереди,
у Санта-Маджоре шел снова, одетый в шелк.

Встреча с собой, сестра, — это встреча с тобой.
Во мне архангел стоит, как в зубьях щипцов орех,
чтобы нимбом раскрыть их, светящейся головой,
и тогда над зеленым каналом заплещет снег.

Две основы, их хрящ и прядь, на ветру светло.
Пылекрылая тварь не одно ль с чешуей огня,
когда в форму их сводит, как гнется в руках стекло,
выпрямляясь до губ и колен — их огня: угля.

Здесь и Лета плывет как сама в себе — за сустав
города смерти в паяльном, как роза, огне.
И на площади голуби ловят тебя за рукав,
чтоб под страхом смерти увидел, чего положено не.

БЛАГОВЕЩЕНИЕ-2

Памяти Веры И., машинистки

К берегам Колхиды черный корабль плывет,
бьется в корме, словно сердце, священный дуб —
он к лучу пристал и больше не отстает,
и он вдвинут в руно, как язык меж Медеи губ.

К Вере в комнату входит ангел, сторук, стозуб,
его крылья из меди, их много — живой орган,
его трубы-перья тянутся и поют,
на бедре его рана и птица в крови — наган.

Он говорит ей благовую весть, а она дрожит.
Она спрятала крэг, она вымыла кухню в лоск.
На столе письмена, и машинка «Москва» стоит,
и копирка в ней светится, словно волна волос.

Святой Дух найдет на тебя, он ей говорит,
и гремит орган, в котором, как лев, — Бах
ходит по клетке, и рог золотой горит
у него во лбу, целокупен, лучист, наг.

И небо настаёт у Веры в груди, и все дисков семь
в нем ангельской речи слова, кружась, говорят,
и бьет по белым щекам наотмашь архангел Эль,
и от этого щеки ее, как Тора, огнем горят.

И дух на нее находит в слякоти и звонках.
Он бел, как пламя, он как игрушка «слон» —
и несет он ее на хоботе и руках
в страну, где каждый живой пока еще не рожден.

Вера пьет вермут — семь дней, как сгорел от запоя муж.
Наутро в ванной она, как сума, висит
с молниями и глазами, полными райских луж.
И тот, кого она родила, увидев ее, кричит.

Но уже заплел их, как солнечный осьминог,
Логос в восемь щупальцев мировых и в вязь
палестинских дворов и пеласгийских дорог,
световыми бицепсами круглясь.

И ей теперь всех мужей остальных рожать,
всех детей утешать и у всех отстоять крестов,
и с волками выть, и в ночи золотой дрожать
в завитках от руна и погребальных костров.

И Арго плывет к Колхиде, к Риони реке,
где дракон, как бомбардировщик, руно сторожит,
и разбитая лампа держит весь мир в кулаке,
и земля от белых холмов, как изба, дрожит.

По ней ходит архангел, гремит в восемь крыл орган,
по архангелу — лев, а по льву через ребра — Бах,
Баха держит дева внутри, как держит собой варган
Джомолунгму-гору в сияниях и гробах.

В ее склонах мир, как собака, вверх дном зарыт,
и беременны камни — сгустившийся волчий свет,
и глодает кость человек, и звезда летит,
и баюкает дева гору, и та зевает в ответ.

МАРИЯ ЕГИПЕТСКАЯ И ПЕТУХ

Я не потух, говорит петух, сорок лет я в пустыне с тобой,
я, как гейзер в радуге, бью и живу, и песок клюю.
Пожалей меня, птицу живу, потрогай меня головой,
я не мертвый, живой.

Она слышит слова, думает, это город
Александрия, лодки, думает, слюдяные, сухая волна.
Она втянута в себя, как ледяное озеро в ворот
рыболова, как небо, в тень валуна —

в сплошной водоворот, куда сходятся неба перья,
чтоб почернеть головешкой для глаза — выпасть в райский
кирпич.

Она их здесь лепит в месяц фарнуфий
для Эмпаэр Стейт Билдинг — империи
неба и коробов со светом — почти сервиз.

Ну, а как ты ляжешь, шепни, внутрь луча, горяча,
как рукой-то, ластом, небо теперь толкать,
удлиниться чтоб в свет, разогнуть чтоб разгон плеча,
да дельфином лобастым луч в клубок все мотать, лопотать?

Как уместишься, деточка, внутрь утробы его опять,
это ж не снова в маме-матери побывать,
а светом себя со всех своих рук обнять,
и родить, ахнув, небо, как подкову груди разжать.

Как играл, как лепил — фелюги, дома, кружева!
Как из всех состоял из людей его каждый луч
без корпускул, вибраций — из единого вещества —
из купцов, моряков, проституток и бил как ключ.

И когда я, раздвинув ноги, ждала, чтоб речь
выросла между ними и встала выше небес,
чтоб сказал из срамного рта мой язык, ярче белых свеч,
свою правду и чашу земли ее б пересилил вес, —

я уже вращалась в него, в губой шевелящий луч,
в земляничный, размазанный на рукаве поток,
и тогда я свернулась в клубок, как в глубокий ключ,
чтоб толкнул меня в череп и из глаз потухших потек.

На барже работал мусоросбор, когда мы шли по мосту
я глотала «колу», стучала каблуком, но не могла,
ничего не могла сказать, кроме — пошли в п...ду!
и лопатки мне земляная лопата жгла.

Я не глина, не речь, не моллюск, но я ими была,
я была дельфином, Медеей, ладьей, песком,
я всходила, зарыта в живую темень ствола,
и качалась как луч на пороге — выгнутый тесаком.

И я слышала крабий шорох собора, купола беготню,
как воняло винстоном, и ангел стоял, как лимон —
живым колесом, разрезанным на корню,
и в храме он был — с ногами вещим грибом.

Я пошла за ним, за лучом, за дельфином сюда,
где распался город на основной песок,
и его бороздили световые с грузом суда,
с моей грудью, вложенной в них, чтоб обнять ребром,

что могу достать не рукой, а его концом —
уходящий предел, кирпичный райский завод.
Это как к своему лицу дотянуться своим лицом,
и от этого больше оно уже не умрет.

А потом приходит петух из нефти, воды, слепоты,
пожалей меня, говорит, потому что я — гейзер дня,
и, как слепок ладони заходит за слепок воды,
так коготь его ментоловый заходит за горсть меня.

Он, как внутренний детский мой рай, меня снаружи летит,
я ему — словно огненный ад, собой-головешкой черна,
и Солнце, как прорубь живая, во мне стоит,
и в рассыпанном поле я — черных лучей длина.

МЕДЕЯ

Заклинаю тебя, святая ночь, гнутым серпом,
заклинаю тебя, Луна, черепом и лучом
с черного солнца, падалицей, мышинным горбом,
красной утробой и белым мертвым плечом.

Заклинаю ветер, чтоб из могил вставал,
руки раскрыв для объятия живым, смешным,
чтоб сам себя на поду, как сом, подавал
огню и земле и плотнел, словно тело, в дым.

Мокнет в тумане Арго, твой кораблик, коралл,
в который легли с тобой, краснея губой —
ты меня, как бамбук, гранитную, разломал,
и волны на берег бегут чубастой слепой ордой.

Заклинаю тебя, Геката, река, лягва!
Узкие бедра цариц, рождающие пожар
головой вперед, входящий в шалаш, вигвам,
в терминал со смертником, как с мухой янтарный шар!

Семь драконов пусть мышцы твои понесут, Давид,
когда выйдешь на белый ринг в чем мать родила.
Поворот земли пусть твою речь хранит,
когда на канатах прикончишь его, как в песках козла.

Словно тех быков — паровозов дыма, огня,
ты взнуздаешь его, мятного мальчика снов,
завернешь в ракушку броска и снесешь на коня
черных далей, в пещеру сомнамбул-псов.

А потом за то, что стан твой как семь огней,
и за то, что в губах твоих кокаин, резеда,
и что продолговат и когтист, и ментоловых дев нежней,
я сожгу твои ребра, как сруб — и будет светла слюда.

Я убью твою дочь, Давид, невесту-сестру,
и бутылкой с отбитым дном ей в сугроб лица
я вобью свою жизнь, как вынимают икру
из лосося на берег, где харкает в кровь лиса.

Будь ты проклят, Давид, мой мальчик, камушек, лев.
В босс-парфюме язык твой бос, как падаль, непогребен.
Словно рой осиный слепился в единый хлеб —
твое черное солнце горит со всех моих белых сторон.

Откушу кусок, обольюсь дурною слезой,
как солдатка-Маша, запричитаю в углу,
что не лечь нам в длину еще раз, дружочек, с тобой
и не спечься в двойном огне, как в печке углю.

Ляг, могильный мой камушек, с темной ночью внутри.
А по камушку кровь шумит да трава идет —
ляг мой камушек под ноги мне, невзапрямь умри.
На *твоей* могиле пусть Солнце мое встает.

На могиле твоей подковы шумят, как река,
города шелестят, где-то ржавый скрипит кран,
а внутри подковы — Божья пустая рука,
и пружиной небесной заводит свой рог баран.

МЕЛЬХИСИДЕК ГЕРОИН

Борису Херсонскому

Мельхисидек Героин, православный царь,
на биплане летит, винтом цепляет медуз,
у него в голове золоченый, в рубинах, ларь,
а в ларе песок, а на нем с наклейкой арбуз.

Мельхисидек Героин — широк, нараспах!
Его глаз сыпуч, а слюна трезва,
его смуглый бицепс — верблюд в горбах,
и Пежо его стелется, как трава.

Он деву из «Летчика» занес на шестой этаж,
отымел и понял, что, в общем, давно мертва.
И он заржал, как в лентах кортеж-экипаж,
и он заснул, как два огнеличных льва.

Короче, попал, — наутро себе сказал
и сел в свой биплан, с Авраамом умыться чтоб.
А она родила под землей, и крот облизал
разродившийся раньше срока сосновый гроб.

Ах ты город стеклянный! Мама родная витрин!
Ах ты снег-саксофон, перепелка, пальма, ветла!
Он расширяется в баре, Мельхисидек Героин,
словно лодка выбрасывает два слюдяных весла.

Он ест колбасу и рисует себе самосуд,
и как ангелы, видит, идут, летят на конях
и стеклянного мальчика на смятой ноздре несут
и его же везут на липких, как нефть, санях.

— Твоя мама — звезда, а ты — ангел, — он говорит. —
Вот тебе пистолет, будешь в меня стрелять,
в тебе, — говорит, — я насовсем убит,
но я все равно воскресну, япона мать!

А ты — мой маленький май и стеклянный гвоздь,
моя мука из паха и белый азот любовь,
ты мой тополь подземный и белая рвотная гроздь,
и мы едем на небо на паре сторуких львов.

Он идет, распаясь, как вынутый снег перин.
Его город, как страус, гладким и круглым снес.
Мельхисидек Героин, ах ты, Мельхисидек Героин!
Заблудившийся мальчик, цепной полнолунный пес!

ПАСХА МАГДАЛИНЫ

Я пришла к нему, волоча свою петушиную лапу в четыре утра.
Рассветало, и небо прошло меня, словно дыня, насквозь
и так и осталось в груди и спине, как вода без ведра,
и в ней жаброй дышал рассвет, словно вытащенный лосось.

Я пришла к нему, потому что искала, там было темно,
и в пещере небо стояло, как лодка в ангаре с двумя
ангелами в коротких штанах, осыпанными как стеклом,
чешуей макрели и серебром слона.

Один — на корме с аккордеоном, что дышал и играл, как лев,
другой — на носу с железной дорогой, уходящей вовнутрь себя.
Два наших неба встретились и стали как круглый хлеб,
и не было, чтобы срезать его, ни у кого серпа.

Я пришла к тебе, потому что душа моя — смерть-мармелад,
я тебе ее принесла, чтоб из могилы плюнул, за край подержал.
Я пришла, потому что тело мое как костер и стеклянный сад,
я тебе его принесла, чтоб, как ком, на лопату взял.

А они всё играют и бросаются во все стороны чешуей,
а я небо-сова сама из себя, как роженица ухожу,
и я вижу открытой и зрячей спиной, как ты растешь живой,
весь из лучей и земли — лопатой по этажу.

Ты стоишь, как черный колодец в сухих краях,
и в тебя заглянуть — кружкой мертвую воду пить.
Это я — твой колодец. Зайди внутрь меня, во мрак,
и увидь там себя: — льва меня и себя увидь.

Небо-лев шкурою дергает, шевелит, в ухе серьга,
в лапе — скотч-виски, в другой — портсигар,
в нем сошлись, чтоб нас вылепить, всех морей берега,
он им весь — позвоночный залив, простосердечный дар.

А глаза-то у льва твои и мои, и мое лицо,
и железный гребень идет сквозь медный узел волос.
Из земли тебя не лопата достала, а широкое колесо
марронской телеги, и червь твой небом прирос.

РОЖДЕНИЕ АФРОДИТЫ. БАРЕЛЬЕФ

Лепкий, львиный лепится круг —
синей глиной да парой рук,
желтой кровью себя обогнать,
захлестнуть, забежать, оборвать.

Нимфам берега — стать размотать,
лимфу бережно вспять залатать,
отмотать звук и плеск, чтоб начать
вновь со слога, со вздоха, с плеча.

Не рука — пятипалый вдох
ей поддержка, идущей из вод.
На лице ее — солнечный мох,
и она больше воздух, чем грот.

И принять — это значит родить,
пальцем пористым ощутить
и ощупать дыханием дух,
чтоб до уха его сгустить.

И все трое — единая горсть,
где сустав, что отдал, то взял,
и где костью поддержана кость,
и просвет ее туп и ал.

Сотня лепких воздушных червей
длит, пластается, нижет, несет —
это Божья кровь все сильней
тебя строит, снаружи течет.

И ты вложена в небо их рук,
как еще молчаливый язык:
не дельфин на лету и не звук —
пламя, блудный от века должник.

СЛЕПКИ

Святые состоят из нашей смерти...

Жесты бессмертных! Как они бережны, как
имеют в виду другое, чем мы, прикасаясь! —
Плоть другую, растущую жесту навстречу
больше светом, чем плотью.
Плач Ярославны из той же он глины, что краба пробежка,
похожая на семисвечник в огнях.
Как она за плечо его держит, Орфея,
поднимая его с земли к своей умершей руке, веса лишая!
Нет больше груши, сыромятной, холмистой,
нет больше раковины, человека — нет вещи.
Но есть сокровенное устремление
одного предмета к другому — это и есть суть предмета,
его нахождение себя.

Природа его таится в паузе, сам он — только начинка, обман,
нелепое чучело, выдуманное для удобства есть, спать,
размножаться.

Как и наше обманное тело.
Природа его — пауза, заполненная *отношением* —
меж человеком и человеком,
меж человеком и белкой,
или меж человеком и живой пустотой:
самих их не взять, не поймать, как вишневую косточку,
сама она есть отношение меж землей, светом, небом,
садовником — золотой узел жестов.

Меж огнем и ладонью.

Она глотает бензин, выдыхает огонь,
девочка в парке. Бензиновая вонь, кружится горящая пакля.
Обгорели брови и челка.
Поэтому теперь она аккуратна. Это огонь —
жест между небом и человеком,
раковиной и океаном.
Что поднимает жест бога навстречу другому? — разве не Небо
в огне —
вне отношений и вне бытия реальность — Бог, *пауза*,
не то и не это,
чтобы, ее вместив, богами мы стали.

Но не мы ее — нас вмещают могилы, вынута часть земли,
ее слепая, глухая цезура.

Не бережны мы с огнем.

В вагоне метро воздух лежит, как саркофаг с хлороформом
на наших плечах,
мы бога молча хороним.

В каждой вещи — колебание противовесов: в яблоке,
всплеске волны,
в хлопке ладоней, соитии.

Два белых тела обращаются в пузыри, как таблетка шипящая
аспирина.

Либо становятся зеленой горой, жирафом, кукушкой, мхом
у ворот, священными буквами,
одиноким снежинкой.

Как магниты, парящие в воздухе, все мы: либо прилипнуть
к сыромятной земле,
либо стать небом.

Ни то, ни другое, бессмертные, но — соотношенье.

Иероглиф «человечность» — это иероглиф «человек»
плюс иероглиф «двойка»,

промолвил учитель Кун.
Отношение. То же и небо.

Плечо его или ее грудь, груша — один материал для богов.

Война миров — это глаза людские:

не всевидящие глаза статуй, по которым бытие скользит,
как волна по борту байдарки, неся ее стремительно к цели, —
но слепые, обезьяньи глаза.

Будьте бережны, боги, к волне, что в смертных играет,
к нашей смерти заживо,
в которую вас мы зовем.

Констанция стоит под портиком,
Моцарт Амадей вдоль скрипки лежит как земля, тело его,
движется к кладбищу,

бесзвучная музыка — отношение меж ними,
тело Бога.

Любой человеческий жест — молитва:

о жизни просьба или о смерти.

Вот дерево растет, дерево. Простая картинка.

Иероглиф.

Лепка лица —
ваша ли речь, зеленые ангелы?
Нет, это наша речь. Слова о холмах, о движении света по плоти.
Дерево, дерево.
Дельфин растет в человека.
Ветки.
Бессмертные стоят в музее, заточенные в слепки: Гера, Гермес,
Афродита.

Входят они и выходят: отсюда к Эгейе,
к общей крови соленой богов.
Как в заливы, в слепки входят и дышат.
Их бессмертие растеклось по крашеной глине,
так горящий газ течет по протекающей зажигалке.
А снег
покрывает аэропорты, терминалы, бары, причалы,
статуи в парках,
буксир у пирса, ограду кладбища, автомобили на стоянках,
человека того, другого, одинокого, бредущего в переулке —
одного на всех.

СЛИЯНИЕ

Плотнее, чем рапаны край,
фильтрующий воды язык —
лазурный мед, дельфиний рай,
желейный звон из волн борзых.

Плотней, чем плющ припал к стене,
меж ока с веком их зазор,
чем сам с собою, чем вовне
себя, но слипшись в смерть-костер.

Они вошли в себя по речь,
землею в землю и слюдой
в слюду, и мрамор их незряч,
и муравейник их — живой.

Осыпаться друг в друга, ось
материка кренить и длить.
В них тигр шевелиться, насквозь
сшивая, как хирурга нить.

В глуби — улитка тишины,
на ней стоит Луна и свод
семи небес, и потный взвод
в меня стреляет у стены.

ЧЕРНАЯ МАГДАЛИНА

Не ходи, мой черный Христос за гору, далеко,
здесь жизнь свою расплещи, как белую лодку ключей.
Я иду, как холм земляной, в землянике сердец, глубоко
внутри сердца могила моя, там течет ручей.

Я иду, осыпаясь, и вновь я — мяса кусок,
что швыряют в колодец раджи, чтоб прилипли верней
заводной соловей, изумруд, золотой песок,
ветер желтых пустынь, кирпичи глинобитных дней.

Барон Коррефур, расстели меня, словно плат,
под черные ноги Его из снега, с травинкой дня.
Расстели меня вдоль, как глиняный неба пласт,
чтобы небо меня всосало и выплюнуло меня.

Ты иди, мой снежный, мой черный Легба-Христос,
ты иди, как тайфун, а я *здесь*, как смерч постою.
Восходи на брус, словно воз, полный черных роз,
восходи, как барс, рассыпаясь на грудь мою.

Шевелись, как луч, снаряженный издалека,
из пальцев собранный, просвечивающих у печи,
из бычьих мускулов, из меда да молока,
из живой пустоты, из пара да из парчи.

Мое сердце в сто земляничных ягод во мне цветет,
в черную грудь мою осыпается свет-земля,
и сдвигает холмы моего плеча поворот,
империи и шалаши всасываются в меня.

Я легла, как волчица, под черный с Тобою брус,
чтобы смог губами достать, захватить сосцы,
чтобы неба холмистого оказался б нежнее груз,
и я глухо хриплю, и я шерю на крест резцы.

Из могилы моей выходят на свет моря,
и мамаша Бриджит на зеленой лодке плывет,
и топорщится сердце мое, словно алый ком снегиря,
и святая вода, как кровь, до дна достает.

Мускулистей могилы с сердцем мой вой, и светлы резцы
под твоими руками, упершимися в косяки
в смерть распахнутой двери, и свет, как на ринге борцы,
входит в этот квадрат, сцеплен до гробовой доски. —

В квадрат, в ночь распахнутой двери, где белый перрон, вагон,
и где кто-то кого-то все ищет, все Ваня кричит,
и где белый сугроб бьет ногой, как убитый слон,
и в вагонном окне все гвоздика плывет-горчит.

Мое темное время пришло, горсть распаханных звезд!
Потемневших лучей гуталин, наживная вязь!
Все уходят с холма, все уходят с меня — из слез
моих сложат холмы, их могилы, их гул и грязь.

Вот и небо сходит тебе на плечи, сынок,
вот Иле-Ифе да короб-Иерусалим,
как волчата в репьях, катаются возле ног
из черного снега, из белых небесных глин.

Я вылижу твою мертвую шерсть, ледяной висок
горячим своим языком, заговорю кровь.
Под воєм моим к волоску прильнет волосок,
чтобы смог ты, как лодка, качнуться, поплыть вновь

в мамаше-суке, в глазах, в красном вулкане дня,
в пустоте мускулистого танца, что белому не сплясать,
съежиться, скучиться — в темный асбест огня
и небо, как теплый кулак, навсегда разжать.

Чтобы раковины глубина без слоеных напрасных стен
оказалась одна и сжималась, как в уголь — свет,
и входила, как лев, в тесный проулок вен,
где живой и мертвый целуют пустой след.

И я вою на желтую, в волчьей маске луну,
и тебя покрываю, как миррой — слюной-слюдой.
И, как кровь и шерсть, прилипшие к колуну,
на замахе звезда шевелится надо мной.

¹ Райский город в религии Вуду.

ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В наши дни возникло расхожее мнение, ставшее почти догмой, что «поэт пишет свои стихи для себя», или в первую очередь — для себя, а там — видно будет. Утверждение, несмотря на кажущуюся скромность, смущает меня некоторой герметичностью и пораженческим уклонением творчества от сверхзадач: все-таки серьезный автор должен рассчитывать на предполагаемый отклик пространства и даже общества, пусть без амбиций народного витии, но все-таки стараясь быть услышанным. Ницше переформулировал библейское «возлюби ближнего своего», на «возлюби дальнего» — можно и так. Не надо забывать, что поэты — тоже люди, и пишут они, в общем-то, для людей. Андрею Таврову повезло — он обрел внимательно читателя и вдумчивого собеседника уже в этой жизни: остается гадать, как способ восприятия мира девятнадцатилетнего поэта из Петербурга совпал с опытом зрелого мастера, насколько происшедшее закономерно или случайно. Факт остается фактом: Алексей Афонин пишет о поэзии Андрея Таврова по существу, он его «просек». Я пожелал бы каждому из нас такого же счастливого знакомства и заметил бы, что когда мы станем важными и знаменитыми, рассчитывать на искренность окружающих уже не придется.

Вадим Месяц

ПИСЬМО АЛЕКСЕЯ АФОНИНА

еще раз прошу прощения за некоторую задержку с письмом; вот, теперь пишу.

вообще сначала просто хочется сказать Вам спасибо за то, что Вы есть и за то, что Вы так пишете.

пару лет назад я впервые прочел Вашу поэму «Самурай», и она до сих пор находится у меня в первых позициях списка самых любимых стихотворений (думаю, ее правильнее воспринимать как одно целое произведение, хотя она очень разнообразна, и кое-какие части цикла нравятся мне особенно — если Вам интересно, я могу рассказать подробнее).

меня поражает Ваше умение так точно передавать то изумительное и непостижимое ощущение перетекания, текучести всего существующего, той самой «пустотности дхарм», которая позволяет чему угодно стать чем угодно, и которая, по сути, является залогом существования реальности, т.к. она одна оставляет необходимые зазоры пустоты между объектами, атомами, вещами и понятиями, между словом и движением, между прошлым и настоящим...

вообще-то в эти зазоры довольно страшно смотреть; да даже и не «довольно», а — очень страшно. поэтому обычно люди стараются как можно меньше фиксировать на них взгляд, предпочитают цепляться за более «надежные» и «стабильные» вещи; поэты чаще обращаются к ним, но и они по большей части не задерживаются в этих пустотах надолго — слишком велика опасность в этом Потоке раствориться, слишком вообще велико искушение оттуда не вернуться... но именно там, в этом предначальном, на мой взгляд, и лежат главные знания о мире.

поэтому чуть ли не больше всего я ценю и уважаю тех поэтов, которые ходят туда и возвращаются, и исследуют эти области, и таких поэтов я для себя приравниваю к духовным практикам — на мой взгляд, они подобны людям, которые осознанно практикуют йогу, дзенскую медитацию или подобные вещи; да и вообще все это достаточно схожие явления.

вот у Вас — получается путешествовать в эту предначальную Пустоту и не только возвращаться — возвращаться с полными горстями сокровищ, удивительных, глубинных.

читая «Самурая», я местами просто захлебывался от восторга — поверьте, это не экзальтированное преувеличение, это констатация факта, — от потрясающего чувства родства, поскольку многие вещи были увидены как будто бы моими глазами, хотя и названы/выражены совсем по-другому... но вот эта магическая текучесть — это абсолютно родное, я тоже достаточно часто так вижу мир, поэтому необычайно счастливым чувствуешь себя, встречая не «единомышленника» даже, а, как бы это сказать, «единочувственника» (неуклюжая формулировка, но иначе не скажешь).

еще меня потрясает Ваше умение, говоря вроде как о «надмирных» вещах, не рисуя непосредственно картину здесь-и-сейчас-реальности, при этом создавать зримые, осязаемые, наполненные запахами образы непосредственных, осязаемых предметов и явлений — заката, летящего мяча, улицы, зажигалки, забытой на столе в кафе, бомбардировщиков над Лондоном или прибрежного песка, — при этом увиденных сквозь все бесчисленные внутренние миры, сквозь все вселенные, мерцающие, переливающиеся, сквозь прошлое и будущее (как чье-то частное, так и общее, архетипическое; более того — через тот уровень их восприятия, когда между частным и общим уже нет разницы).

если говорить о технической стороне — то мне необычайно близка та тончайшая работа со звукописью и ритмикой, которую Вы применяете, многое из «Самурая» совершенно чудесно читать вслух, начинаешь еще острее ощущать этот Поток и плывешь в нем, как рыба.

если говорить о работе с контекстами — совершенно изумительное органичное сочетание многих архетипов культуры Запада — с сложными концептами восприятия культуры Востока, причем прочувствованными глубоко и изнутри.

сам я себя тоже ощущаю примерно на этом же пересечении, поэтому мне было очень радостно встретить что-то, настолько родное по восприятию.

но это бы еще ладно; к сожалению, человек далеко не всегда живет и действует так, как пишет (хотя этот диссонанс, на мой взгляд — одна из самых больших трагедий как отдельной личности, так и культуры в целом), поэтому, увы, понравившиеся стихи — это «не повод для знакомства».

но потом я прочитал Ваше предисловие к Вашей книге «Парусник Ахилл» и некоторые Ваши заметки в «Воздухе», в рубрике «Вентилятор» — и был счастлив убедиться, что в Вашем случае

этого диссонанса нет. я даже передать не могу, как я был рад, увидев на фоне всеобщего «постмодернистского» (или даже уже постпостмодернистского) неверия и... как бы это сказать... позиции «безответственности» (в смысле, отказа признавать, что поэзия и искусство вообще что-то могут менять в мире, причем не только в социальной, но и в над-социальной, метафизической сфере — и, соответственно, отказа от возможности что-либо изменить) Ваши слова о сакральности поэтического слова, о том, что определенные модусы искусства могут сравниться с магией и действуют с ней наравне; я вообще, честно говоря, не ожидал, что среди профессиональных поэтов, поэтов такого уровня еще встречаются люди, мыслящие в таких категориях, и не просто мыслящие, но и действующие.

я хотел Вам сказать, что я очень уважаю Вас за эту честность, за смелость открыто говорить и писать о таких вещах (например, Ваша статья в Русском Гулливере — где про «с трамваем смешанного леопарда»); я очень рад, что есть такой проект, как РГ — мне кажется, что в нынешней обстановке (как социальной, так и культурной) такие вещи необычайно важны.

и вообще — я не могу этого не сказать — для меня люди, пишущие, чувствующие так, как Вы — это волшебные люди, они драгоценны и их очень мало; и каждым из них я восхищаюсь и в очередной раз испытываю глубокую благодарность к миру, который дарит такое чудо.

конечно, я мог бы просто издали восхищаться и радоваться (что я, собственно, и делаю) Вашим творчеством и этими проектами; но, насколько я понял, Вам все-таки важно знать, что у Вас есть единомышленники... поэтому я и решил все-таки Вам написать. я понимаю, конечно, что я наверняка не один такой — не знаю уж, насколько я могу быть Вам интересен, но тем не менее.

разумеется, это никоим образом не означает, что я как-то пытаюсь набиваться в друзья или претендовать на Ваше внимание; но, если общение сложится, если Вам будет интересно — я был бы очень этому рад, т. к. мне тоже очень не хватает единомышленников, особенно — в литературной среде.

на сем пока завершаю монолог и буду ждать Вашего ответа.

с уважением, Алексей

Содержание

Дары в открытом мире (<i>В. Аристов</i>)	5
От автора	14
Ахашверош к Музе	19
Январь	
Козерог	21
Рождество I	24
Январское послание Ахашвероша	26
Январь	28
Камбала	30
Лебедь	32
Святой Михаил с драконом	33
Воскрешение Габриэль	35
Рождество II	36
«Темноскул, освежеван, как волк...»	37
«Ахашверош говорит камням, летящим в него...»	39
«Вы видите не вещи, не зверей, — говорит Ахашверош...»	40
Рисунок на вазе. Орфей с лирой	42
«Ласточке ночной слетать в Египет...»	43
День мученицы Татианы.	44
«Снег идет, как снежный лев...»	47
Февраль	
Смерть Орфея.	48
Шлюз	50
Пешеход	51
Медузе	52
Пробуждение	54
Говорит Ахашверош.	55
Неопалимая купина.	58
Складка	59
Прикосновенье	60
Ангел	61
«Кто розу вскопал, как кулак...»	62

«Дай ощупаю клетку грудную...»	63
Память Игнатия	64
Ганимед	66
«Роза из глубин руки росла...»	67
Лебедь-2.	68
К Габриэль.	69
Симеон и младенец. Сретение	70
Тюрьма на острове	72
Февраль	73
Маршрут	74
Сандро и морской ерш	76
Виньетки часослова.	78

Март

Роща мертвых языков	79
Мартс	81
Адам и имена. (Поэт)	83
Богиня	85
Византийский бык.	87
Волны	88
Иоанн и лестница	90
Мартовское послание Ахашвероша	92
Мелюзина	96
Ченстоховская дева	98
Палама у турок	100
Память святой Христины	102
Пустынник	104
Рыбы	106
Обретение креста Св. Еленой	108
Симеон новый богослов пишет 58-й гимн	111
Устрица	113

Апрель

Руно (Овен)	114
Благовещение	115
Боксер	117
Гавриил	119
Иосиф Муньос, хранитель иконы	
Иверской Божией матери	122
Анхис	124
Благовещение в Венеции	126

Благовещение-2	128
Мария Египетская и петух	130
Медея	132
Мельхисидек героин	134
Пасха Магдалины	136
Рождение Афродиты. Барельеф	138
Слепки	139
Слияние	142
Черная Магдалина	143
От издателя (<i>В. Месяц</i>)	145
Письмо (<i>А. Афонин</i>)	146

Андрей Тавров
ЧАСОСЛОВ АШАХВЕРОНА
Стихотворения

Поэтическая серия «Русского Гулливера»

Руководитель проекта *Вадим Месяц*
Макет и верстка *Валерий Земских*

«Русский Гулливер»
тел. +7 495 159-00-59
www.gulliverus.ru
russian_gulliver@mail.ru

По поводу покупки книг звонить:
+7 (905) 575 4103
Олег Асиновский

Подписано к печати 22.03.2010. Формат 140 × 200.
Бумага офсетная. Гарнитура NewtonС.
Печать офсетная. Тираж 300 экз.

Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии «Чергу Ріе»
112114, г. Москва, 2-й Кожевниковский пер., 12